

АНЖЕЛИКА ЯНЧЕВСКАЯ



ХАЧАПУРИ
ДЛЯ ЛОРДА
ПЕНСИОНЕРОВ ДРАКОНАМИ
НЕ НАПУГАЕШЬ

Анжелика Янчевская Хачапури для лорда,или Пенсионеров драконами не напугаешь

<https://litres.ru/74258674>

Аннотация

Я умерла в своем мире обычной пенсионеркой. А очнулась в теле юной аристократки! Казалось бы, живи да радуйся. Как бы не так! "Сестрица" подставила. Приемные родители вышвырнули вон.Теперь вместо дворца меня ждет дырявый сарай на границе с лесом. Думаете, буду рыдать о потерянном статусе? Щаз! Женщину советской закалки таким не напугаешь.

В тексте есть:

Неунывающая попаданка с большим жизненным опытом

Обустройство быта с нуля и очень вкусная еда

Властный дракон на перевоспитании

Юмор, адекватные герои и Хэппи Энд

Содержание

1	4
2	8
3	13
4	16
5	21
6	26
7	31
8	34
9	37
10	42
11	50
12	63
13	77
14	89
15	101
16	112
17	125
18	141
19	149
20	155
21	168
22	175
Конец ознакомительного фрагмента.	177

— Пришла в себя, дрянь!

Тонкий девичий плач и этот резкий, полный ненависти крик ударили по барабанным перепонкам. Голова гудела так, словно по ней проехал товарный поезд. Я с трудом разлепила веки, налитые свинцом, и попыталась сфокусировать зрение.

Взгляд уперся в высокий сводчатый потолок с щедрой золотой росписью и массивными хрустальными подвесками люстры.

Я скосила глаза вниз. Тяжелое шелковое одеяло цвета бордо давило на грудь. Поверх шелка лежали руки. Я пошевелила пальцами. Они послушались. Но это были совершенно чужие руки.

Тонкие бледные кисти с идеальным розовым маникюром. Кожа светилась молодостью. Никаких вздутых вен, старческих пигментных пятен и натруженных, вечно болящих суставов, к которым я привыкла за шестьдесят три года. Всю жизнь я отработала медсестрой в приемном покое районной больницы, таская носилки и успокаивая буйных пациентов, а выходные проводила кверху спиной на даче. Мои ладони давно покрывали мозоли и вьевшаяся земля.

В памяти яркой вспышкой возникло последнее мгновение. Жаркое майское солнце печет макушку. Я стою над свежей грядкой, бережно опуская в лунку зеленый кустик рас-

сады помидоров. Резкая, ослепительная боль бьет в затылок. Запах влажного чернозема ударяет в нос при падении. Липкая темнота мгновенно поглощает мир.

А здесь пахло приторным, тяжелым парфюмом.

В поле зрения ворвалась статная женщина в переливающимся синем бархате. Она сжимала кулаки с побелевшими костяшками. Рядом с ней стоял сидящий мужчина в самом настоящем камзоле. Он прижимал к груди рыдающую девушку. Та прятала лицо на его плече и громко всхлипывала.

— Мы дали тебе всё! — продолжила чеканить женщина в бархате, делая шаг к кровати. — Статус, образование! Кормили тебя, пока наша настоящая дочь жила в нищете! И ты отплатила нам попыткой убийства!

Мужчина презрительно скривился.

— Чудовище. Гнилая кровь воровки дала о себе знать. Каким позором это обернулось бы для нас. Мы едва не отдали тебя самому Лорду Дамиану Вейну. Благодарю богов, что мы сохранили тебе жизнь после того, что ты сделала с Амалией.

Какая дочь? Какая воровка? Какое образование? Я медучилище в восемьдесят втором закончила. А уж лордов-то я отродясь не знала.

Я попыталась сказать это вслух, но из пересохшего горла вырвался лишь жалкий сип.

Девушка в объятиях мужчины подняла голову и громко шмыгнула носом.

— Она из ревности, отец. Как только узнала правду. По-

няля, что брак с Лордом Вейном по праву принадлежит мне, и столкнула меня с лестницы.

Слова сыпались градом. Раскалывающаяся голова отказывалась обрабатывать информацию. Перед глазами замелькали странные, чужие, обрывочные образы. Высокие башни. Тяжелые бархатные платья. Ощущение свободного падения и пронзительный крик.

— Воды.

Я прохрипела это слово с полной уверенностью, что сейчас задохнусь.

Молоденькая девчонка в сером платье робко пискнула в углу и протянула стакан. Женщина в бархате отшвырнула ее руку. Стакан со звоном разбился о каменный пол, осколки брызнули в стороны, а лужица воды стала медленно растекаться по камню.

Я возмущенно уставилась на мокрый пол. Приперлись к больной женщине. Орут. Посуду бьют. Еще и дрянью обзываются. Прямо как пятничная смена в приемном отделении, только ряженные.

Внутри аж всё закипело от такого хамства. Вот приду в себя, встану с этой перины и быстро научу всю эту театральную постановку родину любить. И полы за собой вытирать.

Я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказать присутствующим пару ласковых слов на советском матерном.

Изнеженное тело предало меня. Головная боль вспыхнула

сверхновой. Комната резко накренилась.

«Орите тут без меня. Утро вечера мудренее», равнодушно подумала я в момент провала в спасительную темноту.

Тишина. Благословенная, густая тишина.

Я снова открыла глаза. Золотая роспись на высоком потолке никуда не исчезла. Тело казалось ватным, горло саднило, голова больше не раскалывалась на части.

Где я вообще нахожусь? Платная палата? Да в нашей районной больнице таких хором отродясь не водилось, тут прямо музей искусств. Я медленно скосила взгляд в сторону. Каменный пол вычищен до блеска, от недавнего скандала не осталось и следа. Взгляд зацепился за высокое напольное зеркало в массивной раме у противоположной стены.

Надо встать и разобраться. Я спустила ноги с высокой кровати. Ступни утонули в густом ворсе ковра. Осторожно опираясь рукой на резной столбик, выпрямилась. Удивительно, тело слушалось легко, нигде не скрипело и не кололо. Шаг, другой. Я подошла к зеркалу и замерла.

Из гладкой поверхности на меня таращилась совершенно посторонняя девица. Длинные, растрепанные светлые волосы, огромные испуганные глаза, бледная кожа без единой морщинки. Я медленно подняла руку с идеальным розовым маникюром и коснулась щеки. Девица в зеркале послушно повторила мой жест. Кожа под пальцами была упругой и гладкой. Моя щека.

Мысли заматались в голове. Инсульт на грядке с помидо-

рами. Запах влажной земли. Липкая темнота. А теперь это. Переселение душ? Боги решили выписать мне премию за ударный труд и подарили вторую жизнь?

Я глубоко вдохнула и выдохнула, глядя прямо в синие глаза незнакомки. Ну, спасибо им огромное. Уж этот шанс я точно использую на полную катушку.

В ту же секунду виски прострелила острая вспышка боли. Перед внутренним взором замелькали яркие, чужие картинки. Они врываются в сознание без стука, вытесняя мои собственные мысли и отвечая на невысказанные вопросы.

Высокая мраморная лестница. Я стою на самом верху. Напротив стоит та самая рыдающая девица, Амалия. Ее лицо искажено злорадной, торжествующей ухмылкой. Она делает шаг ко мне, хватая мои руки и с силой проводит моими ногтями по своей шее. На ее бледной коже проступают яркие красные полосы.

А затем Амалия с истошным криком бросается назад, вниз по крутым мраморным ступеням, намертво вцепившись в мои запястья и утягивая меня за собой. Ощущение свободного падения. Боль. Оглушающее чувство предательства. Настоящая хозяйка тела, хрупкая, тепличная девочка, просто не выдержала этого ужаса. Ее слабое сердце зашлось в бешеном ритме и остановилось от страха еще до того, как затылок с размаху ударился о холодный камень.

Картинки померкли. Я тяжело задышала, стискивая пальцами край туалетного столика.

Вот же малолетка бесстыжая! Настоящая актриса погорелого театра. В приемном покое такие истерички каждый месяц попадались. Сами себе навредят ради привлечения внимания, а потом орут дурниной, чтобы виноватым кого-то сделать. Знакомый типаж.

Дверь тихо скрипнула, и из-за приоткрытой створки донесся испуганный, срывающийся шепот:

— Леди Элеонора? Вы не спите? Это я, Марта...

Я быстро вернулась в кровать и натянула одеяло, ожидая нового раунда криков.

В комнату, пугливо озираясь, проскользнула пожилая женщина в строгом темном платье и белом чепце. Ее лицо густо изрезали морщины, а в выцветших глазах стояли слезы.

Она торопливо подошла к кровати. Ее руки заметно дрожали. Остановившись рядом, она подняла на меня заплаканный взгляд.

— Леди Элеонора, девочка моя... — ее голос сорвался на тихий всхлип. — Очнулись. Хвала создателю.

Она подошла к прикроватному столику, налила воды из кувшина в чистый стакан и осторожно приподняла мою голову, давая напиться. Живительная влага остудила пересохшее горло.

— Зачем же вы так, леди? — зашептала старушка, поправляя мне подушки. — Зачем же вы толкнули госпожу Амалию? Вас же теперь отправят в деревню. Вы же на балах бли-

стать должны, не выжить там домашней аристократке, не для того я вас растила, девочка моя!

«Так, включаем режим амнезии, собираем информацию», — мысленно приказала я себе. Я демонстративно схватилась за голову и застонала.

— Кого толкнула? Марта... я ничего не помню. Видимо, сильно ударилась головой при падении. Что вообще случилось? Кто такая Амалия? Какая деревня?

Женщина ахнула и прикрыла рот дрожащей рукой. Из ее глаз покатались слезы.

— Ох, беда-то какая... А меня помните? Я же вас растила с самых пеленок. Господа всё по балам да приемам мотались, им совсем до вас дела не было. Вы же мне как дочка родная.

Я ободряюще погладила ее по сморщенной руке, призывая продолжать.

— Ваша родная матушка, кормилица здешняя, покойная... — зашептала Марта, озираясь на дверь. — Месяц назад всё вскрылось. Перед самой смертью она повинилась своей сестре. Призналась, что подменила младенцев. Свою кровинку, вас, в господскую колыбель положила, а настоящую леди, Амалию, с собой в деревню забрала.

Старушка всхлипнула и торопливо утерла слезы краем передника.

— А тетка ваша, сестра ее с мужем, Фароны эти, тут же приехали сюда и всё господам выложили. Какой скандал был! Господа Амалию признали, приняли. И вас сразу на

улицу выгонять не стали. Обе жили здесь, пока господа решали, как с вами поступить. А теперь вот...

Марта тяжело вздохнула.

— Господа в такой ярости. Они велели собирать ваши вещи. Самые простые. Все украшения и наряды приказано оставить. Завтра на рассвете вас высылают к этим Фаронам, в деревню на границе.

«Ого, раскулачивание в прямом эфире, — мысленно хмыкнула я. — Вот же жлобы аристократичные. Ничего, плавали, знаем. Голой жопой нас не напугать».

Дверь распахнулась с громким стуком, заставив Марту испуганно подскочить.

На пороге стояла Амалия. От недавней «безутешной жертвы» не осталось и следа. Жгучая брюнетка с колючими темными глазами вырядилась так, словно собралась на императорский прием. Тяжелое платье из кроваво-красного бархата кричало о ее новом богатстве, а на шее, запястьях и в ушах блестело столько драгоценностей, что от этого великолепия рябило в глазах. Казалось, девица в отчаянной жадности нацепила на себя всё золото, до которого смогла дотянуться.

— Пошла вон, Марта, — бросила она безглаголиво, даже не глядя на няню. — Мне нужно поговорить с моей... сестричкой.

Старушка низко поклонилась, бросила на меня последний полный жалости взгляд и торопливо выскользнула из спальни.

Амалия медленно подошла к кровати. На ее губах играла торжествующая, змеиная ухмылка. Она скрестила руки на груди, отчего бриллианты на ее запястьях сверкнули еще ярче.

— Как жаль, что ты выжила.

Голос звучал холодно и ядовито. Я молча рассматривала ее. Молодая, красивая, наряженная как новогодняя елка, а гнили внутри на десятерых хватит.

— Ты, кажется, забыла свое место, дрянь, — Амалия наклонилась ближе, ее ноздри хищно раздулись. — Твоя игра окончена. Ты украла мою жизнь. Моих родителей. Мое богатство. Ты годами жила в роскоши, пока я доила коров в грязной деревне!

Слова сыпались из нее градом.

— Но теперь всё мое. И самое главное, Лорд Дамиан Вейн. Мой лорд. Брак достанется мне по праву крови. А ты сгниешь в канаве, из которой тебя достали при рождении!

Я выслушала этот словесный понос с абсолютно каменным лицом. Ни слезинки. Ни единого вздоха. Просто смотрела на нее в упор, не мигая.

Амалия ждала. Секунду. Другую. Торжествующая ухмылка на ее губах едва заметно дернулась.

— Что молчишь? — она брезгливо скривилась и шагнула вплотную к кровати. — Язык проглотила? Или от страха онемела? Давай, поплачь, поумоляй! Может, я сжаюсь и велю оставить тебя на псарне.

Я даже не моргнула.

Улыбка окончательно сползла с накрашенных губ Амалии. Девушка замерла, приоткрыв рот, шумно втянула воздух, чтобы сказать что-то еще, но слова застряли в горле. Тишина в спальне затягивалась, становясь вязкой. Ее колючий взгляд суетливо заметался по моему лицу. Она поджала губы, недовольно нахмурилась и с силой скомкала в кулаке тяжелый бархат своей юбки.

Я медленно спустила ноги с кровати. Тело слушалось охотно и легко. Выпрямила спину.

— Забирай.

Она моргнула.

— Что забирать?

— Всё забирай. Тряпки, родителей твоих нервных, лорда этого. Мне чужого даром не надо. Только дверь с той стороны закрой плотнее. Сквозит.

Лицо Амалии вытянулось. Она открыла рот, силясь что-то сказать, но я предупреждающе подняла руку.

— Иди давай. Мешаешь отдыхать перед дорогой.

Я отвернулась и демонстративно поправила подушку. Амалия шумно втянула воздух, резко развернулась и выскочила из спальни, громко хлопнув тяжелой створкой.

Я осталась одна. Посмотрела на свои молодые, гладкие руки с идеальным маникюром. Глубоко вздохнула.

Новое тело. Прощай, скачущее давление, вечно ноющая спина, горсти таблеток по утрам и сетка старческих морщин. Да я в лотерею выиграла. А со ссылкой к каким-то там Фаронам мы еще посмотрим. Советских пенсионерок, деревней напугаешь едва ли.

Мои размышления о светлом деревенском будущем прервал громкий скрип. Тяжелая дубовая створка снова распахнулась. Паломничество в мою спальню продолжалось. На пороге появились те самые двое. Мужчина в камзоле и женщина в синем бархате, которые вчера громче всех обвиняли меня в покушении.

Они остановились на почтительном расстоянии от кровати. Мужчина заложил руки за спину. Его лицо выражало крайнюю степень презрения. Женщина брезгливо поджала накрашенные губы. На вид им было едва за сорок. На добрых двадцать лет моложе меня настоящей. Взрослые вроде люди, а ведут себя как напыщенные подростки.

— Мы растили тебя как родную дочь. Давали тебе самое лучшее образование. Окружали роскошью. Мы искренне верили в твое благородное происхождение.

Он начал свою речь замогильным тоном. Сделал театральную паузу. Я лишь молча поправила край одеяла.

— Когда вскрылась правда о преступлении твоей настоящей матери, мы проявили неслыханное милосердие. Мы решили оставить тебя в нашем доме. Собирались воспитывать вас двоих под одной крышей на равных правах.

«Ну, допустим. Оставили из милосердия. Что дальше? Давай уже суть, к чему весь этот спектакль».

Я наблюдала за ними с философским спокойствием. Женщина гневно сверкнула глазами и вступила в разговор.

— И как ты отплатила за нашу доброту? Черной неблагодарностью! Из зависти к престижному браку нашей настоящей дочери ты решилась на преступление. Ты попыталась ее убить!

Слова сыпались градом. Я продолжала молча смотреть на эту театральную постановку. Мужчина подытожил свою речь.

— Такому чудовищу нет места в нашем доме. Мы уже уведомили твоих настоящих родственников. Карета сейчас ждет внизу. Она отвезет тебя к ним.

Он смерил меня холодным, уничижительным взглядом.

— Однако на улицу без одежды мы тебя не выставим. Марта выдаст тебе платье из грубого сукна из запасов для прислуги. Мы проявляем милосердие и выделяем тебе этот наряд. Постарайся покинуть дом без лишнего шума.

Они закончили свою гневную тираду. Повисла тишина.

«Ой, какие благодетели. Испугались соседских сплетен, вот и выпроваживают по-тихому. Классика жанра. Сор из избы не выносят».

— Я всё поняла.

Я произнесла это ровно и совершенно спокойно.

Мужчина осекся на полуслове. Женщина удивленно моргнула. Приоткрыла рот для новой порции нравоучений. Слова застряли в горле от моего равнодушного взгляда. Повисла

неловкая пауза. Мужчина недовольно поджал губы и гордо вздернул подбородок. Сделал вид, что именно такого короткого ответа и добивался.

— Вот и ладно.

Он бросил эти слова сухим, надменным тоном. Они развернулись и величественно покинули спальню.

Я дождалась щелчка замка и решительно откинула одеяло. Ступни коснулись мягкого ковра. Я подошла к умывальнику в углу комнаты и щедро плеснула в лицо холодной водой из кувшина. Снова посмотрела на свое отражение в зеркале.

«Хрен вы меня без вещей оставите. Мечтать не вредно. Пойти на улицу с пустыми руками из-за какой-то малолетней скандалистки в мои планы совершенно не входит».

Я принялась методично осматривать комнату. Роскошные бальные платья в огромном шкафу меня совершенно не интересовали. В деревне от бархата и кружев толку мало. Я нашла на самом дне сундука вместительную дорожную сумку из плотной ткани. Запихала туда теплый шерстяной плащ неприметного серого цвета. Добавила пару крепких полотенец, запасные теплые чулки и самые простые кожаные ботинки без каблуков. Пошарила по ящикам туалетного столика в поисках случайных монет. Монет там ожидаемо не оказалось. Зато нашла крепкая костяная расческа и кусок отличного мыла. Они тут же отправились в сумку.

«Неизвестно еще, что там за деревня вообще. Да и совер-

шенно непонятно, что это за мир такой. Судя по их одежде, я попала в какое-то древнее время. Настоящие времена царей и королей. В таких условиях хороший кусок мыла лишним точно не будет».

Дверь тихо скрипнула. В комнату торопливо вошла Марта. Ее глаза покраснели от недавних слез. В руках она держала стопку грубой серой ткани и тугой полотняный сверток.

— Вот, девочка моя.

Она положила одежду на край кровати. Рядом торопливо пристроила свой сверток.

— Принесла вам платье да белье чистое. Больше господа брать категорически запретили. А тут хлеба свежего половина каравая да кусок сыра твердого. Вы спрячьте еду на самое дно сумки от чужих глаз. Никому не говорите. В дороге перекусите.

«Вот за это отдельное спасибо. Сухпак в дорогу всегда пригодится. Еда лишней точно не будет».

Она пугливо оглянулась на дверь и быстро сунула руку в карман своего белоснежного передника.

— Возьмите, госпожа.

Она зашептала совсем тихо.

— Это мои сбережения. Я откладывала. Спрячьте подальше. Вам они нужнее будут в этой проклятой деревне.

Она вложила мне в ладонь крошечный кожаный мешочек. Я сжала его. Внутри звякнули монеты. Мой стартовый капитал в этом мире.

— Спасибо тебе, Марта.

Я искренне погладила ее по сухой морщинистой руке.

— Я этого никогда не забуду. На ноги поднимусь, заберу тебя отсюда.

Старушка печально покачала головой и тихо всхлипнула.

— Только в живых бы остались, девочка моя.

Сборы заняли ровно пять минут. Простое серое платье из грубой шерсти сидело мешком. После тяжелых шелков оно показалось удивительно практичным. Я спрятала мешочек с монетами глубоко за пазуху, засунула еду на самое дно и подхватила свою тяжелую сумку.

Марта провела меня лабиринтами коридоров до широкой парадной лестницы. Дальше она идти не могла. Я начала спускаться одна, чувствуя на себе колючие взгляды. На верхней площадке, опершись о резные перила, стояли приемные родители. Они молча провожали меня взглядом, словно преступницу на эшафот.

Я уже почти достигла массивных входных дверей, когда сверху раздался звонкий, фальшиво-сочувствующий голосок.

— Я должна с ней попрощаться!

Амалия, шурша своими дорогими юбками, торопливо спускалась следом.

— В конце концов, мы целый месяц прожили как сестры. Сверху донесся приглушенный, полный слезливого умиления голос женщины в бархате.

— Ох, наша Амалия такая добрая. Святая девочка.

«Актриса без Оскара. На публику играет. Ну-ну, давай, покажи класс».

Она догнала меня у самого выхода. Встала напротив, перекрывая путь. Ее глаза торжествующе блестели, а на губах играла змеиная ухмылочка. Она быстро окинула взглядом мою серую хламиду и остановилась на тяжелой дорожной сумке. Ее взгляд стал цепким и жадным.

— А что это у тебя там, сестрица?

Она произнесла это достаточно громко для родителей на балконе. Затем тут же понизила голос до змеиного шипения.

— Слишком объемная сумка для жалкой прислуги. Небось прихватила что-то из моих вещей напоследок?

Она бесцеремонно протянула руку, собираясь вырвать сумку из моих пальцев.

Моя реакция была молниеносной. Я резко перехватила ее запястье свободной рукой. Сжала так крепко, что тонкие косточки жалобно хрустнули. Амалия тихо пискнула от неожиданной боли и попыталась выдернуть руку, но я держала намертво.

Я наклонилась к самому ее лицу.

— Слушай сюда, девочка.

Мой шепот был тихим и тяжелым как гранитная плита.

— Твои тряпки мне даром не сдались. А вот если ты еще раз протянешь ко мне свои жадные ручки, я их тебе выверну так, что ни один лекарь не вправит. Поняла меня?

В ее темных глазах плеснулся первобытный, неподдельный страх. Спесь слетела мгновенно. Она судорожно сглотнула и мелко закивала.

Я брезгливо разжала пальцы, отпуская ее руку. Амалия отшатнулась, потирая покрасневшее запястье, и испуганно прижалась к стене.

Я поправила ремень сумки на плече.

— Счастливо оставаться.

Я толкнула тяжелую дверь и вышла на залитый солнцем двор.

На заднем дворе меня ждала простая крытая повозка. На козлах дремал хмурый возничий. А у самого колеса переменились с ноги на ногу мужчина и женщина. Мои новые родственнички.

Мужик оказался грузным и невысоким. Его бегающие пороссячи глазки суетливо осматривали двор. Женщина куталась в полинялую шаль и с откровенным недовольством рассматривала мое скромное платье. Видимо, ожидала приезда племянницы в бриллиантах для быстрой конфискации.

— Ну, явилась.

Проворчал новоявленный дядюшка.

— Садись давай. Путь неблизкий.

Я молча залезла в повозку. Внутри пахло прелым сеном. Родственнички загрузились следом и устроились на скамье прямо напротив меня. Возничий щелкнул кнутом. Повозка тяжело затряслась по брусчатке.

Дядя переглянулся с теткой и совершенно без стеснения начал обсуждать планы.

— Тянуть с девкой не будем.

Пробасил он.

— Надо ее сбывать поскорее. Пока она нашим деревенским духом не пропиталась.

Тетка довольно закивала и плотядно оглядела меня с ног до головы. Угукнула в знак согласия.

«Ну давайте. Послушаем внимательно. Какие еще у вас гениальные планы на меня».

Я устроилась поудобнее на жесткой скамье и приготовилась слушать этот увлекательный бизнес-план.

— Ты только посмотри на нее.

Продолжила тетка оценивающим тоном.

— Кожа гладкая. Белая. Городская птица.

— И я о том же.

Подхватил новоявленный дядюшка.

— Считай благородных кровей девка. Ученая наверняка. Читать и писать умеет. Такую любой богатеи с руками и ногами оторвет.

Тетка поправила свою полинялую шаль.

— Только дешево отдавать нельзя. Нам выгода нужна.

— Завтра же к старому ростовщику наведаюсь.

Уверенно заявил мужик.

— Он давно себе молодую жену ищет. За такую образованную кралю отвалит золотом щедро.

«Торгаши недоделанные. Ну посмотрим, что меня ждет. А чуть что мне не понравится, я вам быстро покажу кузькину мать».

Путь оказался долгим. Повозка мерно тряслась на ухабах. Родственнички вдоволь наговорились о своих планах. Затем мужик решил обозначить свою власть. Он ткнул себя толстым пальцем в грудь.

— Я твой родной дядька. Петрум Фарон. А это жена моя Гризельда. Теперь мы твоя семья. Слушаться нас будешь во всем.

Я молча кивнула. Пусть тешат свое самолюбие.

Вскоре они утомились от собственной значимости. Дядя Петрум захрапел первым. Тетка Гризельда долго клевала носом. Я тоже прикрыла глаза под монотонный скрип деревянных колес.

Проснулась я от легкого шороха. Чужие пальцы нагло тянули ремень моей дорожной сумки. Тетка решила провести инвентаризацию моего имущества прямо в пути.

Я резко перехватила ее запястье. Сжала с силой. Тетка испуганно пискнула.

— Малолетке в замке по рукам надавала. И тебе ничего не обломится. Держи свои грабли при себе.

Гризельда с силой выдернула руку. Ее лицо пошло красными пятнами от возмущения. Она злобно зашипела.

— Ишь, цаца выискалась! Да как ты смеешь со старшими так разговаривать! Дрянь неблагоприятная.

Она отодвинулась в самый угол повозки. Обиженно поджала губы. Принялась бормотать себе под нос проклятия. Дядя Петрум лишь недовольно крякнул сквозь сон.

Мы ехали еще несколько часов. Повозка наконец остановилась. Деревня встретила нас мычанием коров и густым запахом навоза.

Я выглянула наружу. Двор Фаронов оказался под стать своим хозяевам. Покосившийся деревянный забор. Грязь под ногами. Приземистый, давно не крашеный домик с мутными окошками. Бедность и запустение.

Дядя Петрум резво спрыгнул на землю. Потер свои пухлые руки.

— Ну вот и дома. Вылезай давай.

Тетка Гризельда кряхтя спустилась следом. Она решила продолжить начатый в повозке конфликт.

— Давай сумку! Мы же одна семья. Все твое теперь наше. Я тебе так и быть угол в чулане выделю. Пошли.

Я молча слезла с повозки. Закинула тяжелую сумку на плечо. Дядя Петрум шагнул наперерез. Лицо его налилось дурной кровью. Он злобно рявкнул.

— Ты глухая? Совсем страх потеряла? Мы тебя приютили. Из милости кормить будем. Отдавай вещи! Че ты там прихватила с замка господского?

Он протянул свои короткие толстые пальцы к моей сумке. Решил силой забрать имущество.

Я сделала быстрый шаг в сторону. Оказалась у летней

каменной печи во дворе. Мой взгляд упал на тяжелую чугунную сковородку. Черную и закопченную. Моя рука сама легла на шершавую деревянную ручку. Сковорода оказалась увесистой.

Я размахнулась. Со всей силы грохнула чугунным дном по старому дубовому столу.

Раздался оглушительный треск. Стол жалобно скрипнул. Дядя Петрум отскочил назад. Гризельда испуганно пискнула. Прижала руки к груди.

Я медленно повернулась к ним. Сковородку из рук выпустить не стала. Мой голос звучал тихо и тяжело. В больнице под таким тоном замолкали даже самые буйные пьяницы.

— А теперь слушайте меня внимательно. Я буду жить сама по себе. Вы ко мне не лезете. Я к вам не лезу. У моей матери был свой дом ?

Дядя Петрум побагровел. Он скосил глаза на мою объемную сумку. Прикинул в уме упущенную выгоду и злобно оскалился. Какая-то городская девка посмела указывать ему в его собственном дворе.

— Ах ты дрянь! Я из тебя всю дурь выбью!

Он с рычанием бросился вперед. Выставил перед собой короткие, толстые руки.

Я не стала отступать. Сделала быстрый шаг навстречу. Тяжелая чугунная сковорода со свистом рассекла воздух. Я ударила плашмя по его тянущимся пальцам.

Раздался хруст и громкий вопль. Дядя Петрум отшатнул-

ся. Схватился за ушибленную руку. Лицо его исказилось от боли.

Тетка Гризельда попыталась зайти со спины. Протянула костлявые пальцы к моим волосам. Я резко развернулась. Замахнулась тяжелым чугуном прямо перед ее носом. Тетка истошно взвизгнула и осела на пыльную землю.

Я повернулась обратно к Петруму. Скородода в моей руке слегка покачивалась.

— Убью. Выкопаю яму за двором и закопаю. Никто про вас даже не вспомнит. Я повторяю вопрос. Дом был?

Фарон побледнел. Он прижал к груди пульсирующую болью кисть. Его пороссячьи глазки забегали от моего ледяного лица к тяжелому чугуну. Он попятился назад. Он решил зайти с другой стороны, используя голод и шантаж. Он злобно выплюнул слова, оставаясь на безопасном расстоянии.

— Ах так! Аристократка выискалась! Думаешь, самая умная?

Он гордо выпятил грудь. Ткнул коротким пальцем в сторону темнеющей полосы деревьев за околицей.

— По моим правилам жить не хочешь. Значит, пойдешь прямо на улицу. Я тебя кормить не собираюсь. Жениха богатого искать тебе не буду. У твоей матери ничего своего отродясь не было. Остался только гнилой сарай вон там, на самом отшибе у леса. Там она и жила, пока мы ее из милости не приютили. Сдохнешь с голоду под забором.

Тетка Гризельда осмелела за его спиной. Она злорадно за-

кивала и подхватила мысль мужа.

— Вот именно! Катись отсюда. Посмотрим, как ты там завоюешь без нашей помощи! Собакам бродячим на корм пойдешь. Сама приползешь на коленях проситься обратно.

Я мысленно усмехнулась. Отличные новости. Своя крыша над головой есть. Остальное приложится.

Я аккуратно положила сковороду обратно на печь. Поправила ремень сумки на плече и бросила на них последний равнодушный взгляд.

— Счастливо оставаться. Торгаши.

Я повернулась спиной к онемевшим родственникам. Зашагала прочь со двора. Вышла за покосившиеся ворота на пыльную дорогу и направилась в сторону леса.

Деревня оказалась раскидистой. Извилистая улочка привела меня к самой окраине. У кромки густых деревьев темнели сразу несколько старых, заброшенных развалюх. Иди туда не знаю куда. Взламывать чужие двери и получать вилами в бок в мои планы совершенно не входило.

Навстречу по пыльной обочине брел мужичок в латаной рубахе. Он гнал хворостиной тощую корову. Я решительно шагнула ему наперерез.

— Доброго вечера. Подскажи дорогу, уважаемый. Где тут дом покойной сестры Петрума Фарона?

Мужик остановился. Смерил мое серое платье подозрительным взглядом.

— А тебе на кой туда надо, городская? Там лет пятнадцать никто не живет.

— Жить там буду. Я ее дочь.

Я ответила ровно и твердо.

Мужик удивленно крикнул. Его выцветшие глаза округлились.

— Дочь? Знаю я ее дочь. Амалию Фароны в деревне растили. Так получается, правду говорили? Подменила она свою дочь?

Он недоверчиво покачал головой.

— Господская девка. Амалька-то в замок уехала, а тебя сюда вышвырнули. Дела.

— Выходит, так. Дорогу покажете?

Я не собиралась обсуждать с ним сплетни, в деревне уверена уже есть своя версия, а дядюшка с тетушкой еще и приукрасят. Мужик почесал затылок. Он вытянул грязный палец в сторону леса.

— Вон тот. Самый крайний сруб. У самого леса стоит. Да только там и крыша почитай провалилась. Глупая ты девка, раз туда на ночь глядя суешься. Там и днем то делать нечего. А ты почитай и не приспособлена для жизни в деревне то.

Я коротко поблагодарила его кивком, прервав причитания. Поправила ремень сумки и зашагала точно по указанному маршруту.

Солнце уже начало клониться к закату. Впереди мрачной стеной поднимался густой лес. У самой его кромки показался покосившийся, наполовину заросший бурьяном сруб. Моя законная жилплощадь.

Я решительно раздвинула высокие стебли жгучей крапивы и подошла к перекошенной двери. Толкнула ее рукой.

Гнилые доски с протяжным, жалобным скрипом подались внутрь.

Я сделала уверенный шаг в сырой, пахнувший пылью полумрак.

И в ту же секунду в глубине сарая раздался громкий шорох. Во тьме отчетливо блеснули чьи-то глаза. Низкое, предупреждающее рычание разорвало тишину.

Я замерла на пороге.

Я замерла на пороге. Густой воздух пах затхлостью, сухой земляной пылью и старым деревом. В этом полумраке, прямо по курсу, отчетливо блеснули чьи-то глаза. Раздалось тихое, предупреждающее шипение.

Сердце гулко ударилось о ребра, отдаваясь пульсацией где-то в горле. Лесной зверь? Какая-нибудь местная нечисть? Моя рука инстинктивно сжалась в кулак. Бежать мне некуда, да и ноги после долгого дня едва держат. Сил на ночные драки совершенно нет. Кто бы там ни прятался во тьме, нам придется договариваться.

Я медленно, стараясь не делать резких движений, опустила тяжелую дорожную сумку на гнилые доски. Дерево под ней жалобно скрипнуло. Не сводя взгляда с горящих в темноте глаз, я нащупала полотняный сверток Марты. Непослушные, онемевшие от усталости пальцы никак не могли справиться с тугим узлом. Наконец, ткань поддалась. Я отломила щедрый кусок сыра и аккуратно бросила его прямо в темноту.

Послышалось торопливое чавканье. В тусклую полосу угасающего света из дверного проема шагнул тощий, облезлый рыжий кот. Одно ухо порвано. Шерсть свалаялась в грязные колтуны. Он проглотил сыр и уставился на меня голодными зелеными глазами в ожидании добавки.

Я шумно, с облегчением выдохнула. Обычный кот. Просто местный бродяга.

— Привет, рыжий. Ты тут живешь?

Я отломила еще кусок хлеба и положила на пол. Кот подошел ближе и принялся жадно грызть угощение.

— Надеюсь, имущество от грызунов охранял. Молодец. Я теперь новая хозяйка. Придется нам как-то уживаться.

Я огляделась. Последние лучи заходящего солнца пробивались сквозь дыры в крыше, безжалостно освещая масштабы разрушений. Я находилась в просторной комнате. Она явно служила кухней и гостиной одновременно. Оконные проемы зияли пустотой.

Хорошие новости тоже имелись. У стены громоздилась огромная каменная печь. Настоящая, основательная, с широким плоским верхом. На такой махине можно еду варить и спать в тепле холодными ночами.

Я осторожно заглянула в соседний проем. Вторая комната оказалась совершенно пустой. Темнушка без окон. Зато потолок радовал глаз крепкими досками без зияющих дыр.

Я мысленно подвела итоги осмотра. В принципе, жить можно. Крыша на голову не падает, уже праздник. Хотя кого я обманываю. Разруха полнейшая.

В голове тут же пронеслись мысли о том, где бы раздобыть нормальный веник, чтобы вымести этот слой пыли. Паутину в углах придется снимать длинной палкой, полы скрести с песком до посинения, а дыры заколачивать. Работы непоча-

тый край. Глаза боятся, руки делают.

Спать на холодных камнях печи я пока не собиралась. В дальнем углу первой комнаты темнела куча старого сена. Я нашла у стены крепкую палку и принялась за дело.

Каждое движение отдавалось тупой болью в непривыкших к такому труду мышцах молодого тела. В воздух тут же поднялся густой столб едкой пыли, от которого засвербило в носу. Задерживая дыхание, я сгребла самую сухую труху и перетащила в темнушку. Эта комната надежно укрывала от ночных сквозняков.

Сформировав из сена плотную кучу, я достала из сумки свой теплый серый плащ и расстелила поверх импровизированного матраса. Сумка отлично подошла на роль подушки.

Я опустилась на свою лежанку и с наслаждением вытянула гудящие ноги. Какое же это блаженство просто лечь. Жесткое сукно плаща казалось мягче перин. Тело ломило от усталости. События этих сумасшедших дней навалились тяжелой бетонной плитой. Переселение души, скандалы, родственнички с их угрозами выжали из меня все соки до последней капли. Я закрыла глаза, проваливаясь в спасительную темноту. Сейчас я просто буду спать. Утро вечера мудренее.

Вскоре рядом раздался легкий шорох. Рыжий кот покрутился на месте и с громким тархтением улегся прямо мне под бок.

Я проснулась от звонкого птичьего гомона. В темнущке царил приятный полумрак, но из главной комнаты пробивались яркие солнечные лучи.

Рыжего кота рядом уже не было. Видимо ушел по своим кошачьим делам.

Я медленно села, прислушиваясь к ощущениям. Мышцы отозвались тупой, тянущей болью после ночи на жестком сене. Я потянулась всем телом. Привычного прострела в пояснице не последовало. Молодое тело просто затекло от неудобной позы, а застарелый артрит и скрип суставов остались в прошлой жизни.

Я задумчиво оглядела свои гладкие, молодые руки. Что мы имеем в сухом остатке? Новую жизнь в сильном, здоровом теле, которое не ноет на погоду и не требует горсти таблеток по утрам. За такой подарок небес грех не сказать спасибо. А то, что ночевать пришлось в пыльном сарае на сене, так это сущие пустяки. Руки есть, голова на плечах имеется, а значит, остальное приложится.

Я встала и вышла в главную комнату. Солнце щедро освещало каждую паутинку и каждый слой грязи.

Прошла во двор, вдыхая свежий утренний воздух. Первым делом требовалось просто умыться. Я прислушалась. Вчера за шумом в ушах и дикой усталостью я этого со-

вершенно не заметила, но сейчас отчетливо уловила тихое, успокаивающее журчание. Звук доносился с заднего двора.

Я обогнула покосившийся угол моего дома и прошла метров пятьдесят в сторону леса. В густой тени деревьев из-под камней бил чистый, холодный ключ. Вода скатывалась по гладким валунам и убегала тонким ручейком дальше в заросли. Я опустилась на колени, зачерпнула ледяную воду ладонями и с наслаждением умыла лицо. Сон и остатки усталости окончательно отступили.

Теперь можно было браться за дом. Для настоящей уборки требовалась тара для воды и хоть какое-то подобие метлы.

Я принялась методично обследовать заросший бурьяном двор. Удача улыбнулась мне в густых зарослях жгучей крапивы. Там валялось старое железное ведро. Ржавое, помятое, покрытое слоем въевшейся грязи. Я внимательно осмотрела дно. Целое. Видимо, мародеры побрезговали забирать такой непрезентабельный хлам.

У покосившегося забора густо разросся какой-то жесткий кустарник. Я наломала охапку самых упругих веток, связала их выдернутым из плаща шнурком. Импровизированный веник получился кривым, но на удивление крепким.

Работа закипела. Пыль поднималась густыми облаками, заставляя чихать и кашлять. Я методично выметала из углов паутину, сухую труху и мышиный помет. После такой сухой уборки воздух в доме стоял плотной серой завесой. Мне пришлось выскочить на крыльцо, чтобы просто продышаться и

подождать, пока эта взвесь немного осядет.

Вернувшись внутрь, я добралась до печи. Потянула на себя тяжелую ржавую заслонку. Она с противным скрежетом поддалась. В темном нутре, покрытый вековой сажой, обнаружился пузатый чугунный казанок. Отличная находка. Проблема с кипячением воды была решена.

Началась самая тяжелая часть дня. Воды требовалось много. Я таскала ее от лесного ключа ведро за ведром. С непривычки плечи быстро налились свинцовой тяжестью. Желудок предательски заурчал, напоминая, что со вчерашнего вечера в нем побывал лишь крошечный кусок сыра и корка хлеба. Пришлось заглушить острый голод парой глотков ледяной колодезной воды. Расслабляться было рано.

Сначала я взялась за чугунок. Прихваченный с берега крупный речной песок работал лучше любой металлической щетки. Я с остервенением скребла дно и бока, стирая налет времени. Вода в ведре мгновенно становилась черной, как смола. Пришлось менять ее трижды, пока сквозь вековую сажу не проступил тусклый блеск настоящего металла.

Затем настала очередь пола. Я щедро сыпала мокрый песок на грязные доски и терла их пучком жесткой травы. Пальцы стерлись и покраснели, спина ныла. Но когда под слоем серой, вьевшейся грязи вдруг начал проступать настоящий, светлый цвет старого дерева, я почувствовала прилив сил. Это зрелище приносило огромное удовлетворение.

Во время очередной ходки за водой я остановилась на

полпути перевести дух. Вытерла рукавом пот со лба. Краем глаза уловила движение в кустах у старой ограды. Раздался тихий хруст сухой ветки. Я скосила взгляд и заметила мелькнувшие светлые макушки. Местные ребяташки прятались в зарослях, вытягивая шеи. Слухи по деревне летели со скоростью лесного пожара. Городская девка моет полы. Любопытство брало верх. Я сделала вид абсолютного безразличия, подхватила тяжелое ведро и молча пошла внутрь.

Гнилые, проваливающиеся половицы я аккуратно выломала и сложила у печи горкой. Они отлично подойдут для растопки. Разбрасываться чем либо в моем положении было непозволительной роскошью.

Затем я стянула с себя пропитанное пылью и потом серое платье. Окатила себя ледяной водой из ведра. Кожа мгновенно покрылась мурашками, тело горело от холода и тяжелой физической работы. Я насухо вытерлась и надела чистые запасные вещи из дорожной сумки. Только после этого я собрала найденные грязные тряпки, прихватила свое снятое платье и отправилась к ручью. Тщательно выстирала всё это в холодной воде и развесила сушиться на покосившемся заборе.

К вечеру я едва держалась на ногах. Дом преобразился. Дыры в стенах и крыше никуда не делись, но сквозь них теперь проникал свежий лесной воздух, а запах тлена полностью исчез. Пол был выскоблен до светлого дерева, паутина убрана.

Я опустила на ступеньки крыльца. Достала остатки сыра и последнюю горбушку хлеба из свертка Марты. Из густой травы тут же бесшумно вынырнул рыжий кот. Он потерял мое колено и требовательно мяукнул. Я отломала ему кусочек своего скромного пайка. Припасы подошли к концу.

Я жевала сухой хлеб и мысленно подводила итоги. День прошел на удивление хорошо. Самым главным поводом для радости стало полное отсутствие родственников.

Солнце окончательно скрылось за деревьями. Двор стремительно погружался в густые сумерки. Я уже собиралась встать и пойти в свою безопасную темнушку.

Внезапно рыжий кот замер. Он выронил недоеденный сыр. Шерсть на его худой спине встала дыбом. Зверь глухо зарычал, не мигая уставившись в чернеющую стену леса.

А в следующее мгновение из чащи донесся звук.

Леденящий душу, вибрирующий вой. Он перекрыл шум вечернего ветра и заставил внутренности сжаться в тугий узел.

Вой оборвался так же внезапно, как и начался. Наступила мертвая тишина.

Я медленно перевела взгляд на свою перекошенную входную дверь без единого замка. Зияющие провалы окон больше не казались мелкой бытовой неприятностью.

Завтра первым делом я пойду в деревню искать гвозди и молоток. А сегодня придется спать в обнимку с тяжелой деревянной палкой.

Дамиан

Отец вызвал меня на рассвете. Глава рода Вейн присылает секретаря с бумагами ради обычных дел. Личный вызов в малый кабинет до завтрака означает только одно. Мне собираются портить жизнь без лишних свидетелей.

Я переступил порог. Отец замер у окна со сцепленными за спиной руками. Выправка высшего дракона заполняла собой все пространство кабинета. На пустом столе белела одинокая бумага. Печать Бароков бросалась в глаза прямо от двери.

— Садись, Дамиан.

Я остался стоять.

— У Бароков грандиозный скандал.

Он даже не повернулся от окна.

— Обещанная нашему роду невеста оказалась фальшивкой. Ее подменили в колыбели. Бароки нашли свою настоящую дочь. Самозванку вчера с позором выслали в глухую деревню после ее нападения на законную наследницу.

Я мысленно усмехнулся. Прекрасные новости с самого рассвета. Договоренности больше нет. Я ту девицу в глаза ни разу не видел и оплакивать потерю статуса жениха совершенно не собираюсь. Хроническое желание отца меня женить дало сбой.

— Какая жалость.

Я постарался придать голосу хотя бы каплю сочувствия.

— Видишь, отец. Сама судьба против. Значит, не нужно мне пока жениться. Бумаги о помолвке можно отправлять в камин.

Он повернулся. Костяшка его указательного пальца привычно застучала по столешнице. В человеческом облике когтей нет. Зато древняя привычка отбивать ритм по дереву никуда не делась.

— Бароки готовы выполнить свои обязательства. Они привезут настоящую дочь.

— Что? Нет.

— Мне уже семьдесят лет. Сколько мне еще отведено, одним богам известно. Если меня не станет, ты останешься один. У тебя нет ни жены, ни наследника.

Отец откровенно манипулировал. Для дракона семьдесят лет означает самый расцвет сил. Он выглядел шикарно. Он мог бы легко жениться заново и наделать еще десятков детей. Но после смерти матери он наотрез отказывался смотреть на других женщин. Она была его единственной любовью. Поэтому вся его нерастраченная семейная энергия обрушилась на меня. Он категорически желал получить внуков и возиться с малышкой.

— Но пока я жив, я обязательно тебя пристрою. Я дождусь внуков. И я уже подписал Барокам согласие на смотрины.

Стук костяшки по столу прекратился.

— Один вечер. Посмотришь на девицу. Умных бесед тебе с ней не вести. Ее дело рожать наследников и управлять домом. Может все же понравится тебе, ну а нет, откажешь по всем правилам приличия прямо в лицо.

Я посмотрел на печать Бароков. Перевел взгляд на отца. Спорить с ним в такие моменты совершенно бесполезно.

— Один вечер.

Бароки прибыли через три дня. Две кареты багажа на один вечер смотрелись весьма красноречиво. Я стоял на верхних ступенях ради соблюдения приличий. Девушка выпорхнула из экипажа. В тяжелом бархатном платье она напоминала нарядную куклу. Она задрала голову к вершинам башен. Рот приоткрылся от совершенно искреннего изумления. Жадный взгляд быстро пробежался по фасаду замка.

Но стоило ей заметить меня, как она тут же захлопнула рот. Взгляд послушно уперся в каменные ступени. Она торопливо сложила руки перед собой.

— Лорд Вейн!

Голос прозвучал высоко и с излишним придыханием. Она присела в глубоком реверансе и протянула руку ладонью вниз. Башня из темных волос опасно качнулась. На запястье звякнули сразу четыре золотых браслета.

— Милорд. Для меня огромная честь переступить порог вашего великого дома. Ваш замок потрясает своим богатством.

Я внимательно посмотрел на нее. Внешне девушка оказа-

лась весьма хороша. Правильные черты лица. Яркие глаза. Свежая молодая кожа. Я мысленно прикинул варианты. Отец от меня просто так не отстанет. Может, действительно стоит на ней жениться. Завести детей для спокойствия рода и закрыть этот вопрос навсегда. Я решил дать ей шанс.

За ужином отец взял на себя развлечение четы Бароков. Он вел неспешную светскую беседу с родителями невесты. Я честно попытался наладить контакт с самой Амалией. Задал пару простых вопросов о столичной погоде и тяготах дороги.

Амалия густо краснела. Она нервно теребила край кружевной салфетки и хихикала совершенно невпопад. Вместо нормальных ответов она выдавала лишь обрывочные, сбивчивые фразы про красивых птичек за окном кареты и очень страшных лошадей. Я задал еще один вопрос о ее любимых книгах. Она снова захлопала ресницами и покраснела до самых ушей.

Затем старшие увлеклись обсуждением новых пошлин на южный шелк. Внимание за столом полностью сместилось на них. Амалия сочла это отличным моментом для отдыха от моей компании.

Она взяла тяжелую вилку. Быстро огляделась по сторонам. Убедилась в отсутствии лишних глаз и с силой поскребла ногтем позолоту на черенке.

Оставалось лишь сказать спасибо богам за ее отказ проверять золото на зуб. Мой энтузиазм по поводу женитьбы стремительно угас.

Подали десерт. Амалия немного осмелела после выпитого вина. Она по-хозяйски обвела взглядом обеденный зал. Осмотрела старинные гобелены. Оружие на стенах. Остановила взгляд на портрете моей матери над камином.

— У вас такой огромный замок, милорд. Но здесь так темно.

Она выдала самую сладкую улыбку и захлопала ресницами.

— Ничего. Я стану хозяйкой и все здесь обновлю. Выкину эти старые тряпки со стен. Закажу все светленькое и модное. Здесь будет не хуже столичного дворца. Вот увидите.

Стент замер с подносом в руках. Впервые за сорок лет службы. Я медленно положил приборы на стол. Посмотрел на главу рода Барок.

— В котором часу подан ваш экипаж для обратного пути, милорд?

Мать Амалии удивленно приоткрыла рот.

— Мы планировали остаться до утра. Дорога весьма утомительна.

— В этом нет совершенно никакой необходимости.

Амалия радостно захлопала ресницами. Она истолковала мои слова по-своему.

— И правда! Зачем тянуть время. Я могу перевезти свои вещи уже завтра.

Я перевел спокойный взгляд на нее.

— Вы меня не поняли. Свадьбы не будет. Экипаж вам по-

дадут через четверть часа.

Повисла долгая, тяжелая тишина.

Потом до нее дошло. Красные пятна возмущения поползли от шеи вверх к щекам. Маска покорности мгновенно слетела.

— Что? Да как вы смеете! Да за мной еще сотня таких женихов бегать будет!

— Охотно верю. Заранее передавайте им мое искреннее сочувствие.

Она резко вскочила. Браслеты истошно звякнули. Мать поднялась следом, открыла рот и тут же захлопнула.

— Папенька, вы это слышите?!

Голос Амалии сорвался на визг.

— Мужлан! Ящерица переросшая! Да я! Да ты!

Слушать этот поток сознания я не стал и просто вышел из зала. За спиной раздался громкий звон разбитого стекла. Судя по звуку, пострадала бабушкина ваза с малого столика. Я мысленно прибавил ее стоимость к счету рода Барок.

Отец вошел в малый кабинет только после отъезда гостей. Его шаги тяжело отдавались в тишине. Глухое, ледяное бешенство в его взгляде давило свинцовой плитой.

— Отказал. За столом. Прямо при родителях.

— Ты сам велел отказать в лицо. Я выполнил приказ в точности.

— Дамиан.

Коготь снова застучал по столу. Я выдержал паузу.

— Ты сам все видел, отец. Я честно дал ей шанс. Но она двух слов связать не может. Она скребла ногтем наши вилки. И она назвала мамин портрет мрачным старьем. Она собиралась выкинуть его ради светленьких занавесок.

Стук когтя мгновенно прекратился. Отец подошел к камину и замер. Мамин портрет висел и здесь.

— Девица и впрямь оказалась редкостной дурой, — произнес он после долгого молчания, не отрывая взгляда от картины. — Отвратительные манеры. Эту забудь. Но вопрос не закрыт. У тебя есть время до зимы. Или ты находишь жену сам, или я снова беру дело в свои руки. А пока...

Он взял со стола вторую бумагу. Отец никогда не приходит с одним вариантом.

— На западном тракте пропадают обозы. Четвертый за два месяца. Наместник требует отряд и высшего дракона во главе. Приказ я подписал утром.

Я взял бумагу. Западный тракт означает глушь. Сплошной лес до самого горизонта. Болота и разбойники. Ни одной невесты на сотню верст вокруг.

— Когда выступать?

Отец посмотрел на меня. В углу его рта пряталась легкая усмешка.

— Завтра на рассвете. Отряд уже собран.

Я убрал бумагу во внутренний карман камзола. Приказ есть приказ. Глухие болота и банда головорезов отличная альтернатива светским смотринам.

Утро я встретила в обнимку с палкой.

Кот спал у меня в ногах тугим рыжим клубком. Вчерашний вой из леса его, судя по безмятежной морде, больше не беспокоил. Меня, честно говоря, тоже. Умирать я уже пробовала. Второй раз пугаться было как-то даже неприлично.

Я потянулась, села и первым делом вытащила из сумки мешочек с монетами Марты.

Деньги любят счет. Это правило исправно работало в любом мире. Я расстелила плащ, высыпала на него монеты и разложила кучками. Медяки к медякам. Монеты покрупнее, с выбитым профилем неизвестного мне бородатого правителя, легли отдельно. Три серебряные монеты отправились в самый дальний угол. Неприкосновенный запас. Его я решила зашить в подол при первой возможности. Старую школу не пропьешь.

Считала я долго и вдумчиво, дважды, как ревизия в конце квартала. Одна беда, местных цен я не знала вовсе, так что вся моя бухгалтерия пока была вилами по воде. Сколько здесь стоит хлеб, сколько гвоздь, сколько курица, предстояло выяснить сегодня же, в деревне, и уже от этого плясать. Одно я знала твердо, по опыту жизни. Денег всегда меньше, чем кажется, и кончаются они всегда раньше, чем рассчитываешь.

«Значит, тратим с умом и сразу на главное», подвела я итог. «Инструмент, гвозди, посуда, крупа, соль. Остальное потом, по мере поступления средств».

Средствам, правда, поступать было пока неоткуда. Но эту мысль я отложила на вечер. Утро вечера мудренее, а у меня и без того дел стоял полный двор.

Дверь у меня по-прежнему не запиралась. Окна зияли дырами. В любую из них ночью могла влезть хоть лиса, хоть кто покрупнее, вспоминать про ночной вой не хотелось. Ночевать третью ночь в проходном дворе я не собиралась.

Завтрак у нас с котом вышел скромный. Ему последний кусочек сыра из тех, что собрала в дорогу Марта, мне остатки хлеба с водой из ключа. Кот управился первым и уставился на мой хлеб.

— Даже не мечтай, — сказала я ему. — Вечером будет каша. Дотерпишь.

Я умылась у лесного ключа, до скрипа, ледяной водой. Расчесала волосы, заплела косу и убрала под платок. Отряхнула платье, оттерла ботинки пучком травы. Встречают по одежке. Идти в деревню замарашкой означало сразу занять место на самой нижней ступеньке, а я на нее не подписывалась.

Кот проводил меня до края двора и уселся на пенек с видом сторожа на проходной.

— Хозяйство на тебе, — сказала я ему. — Чужих не пускать.

Дорога до деревни заняла минут двадцать неспешным шагом. Мой сарай стоял на отшибе, у самого леса, и от крайних дворов его отделял пустырь с бурьяном по пояс. Утро выдалось ясное, с росой. Пахло травой, дымом и чем-то неуловимо деревенским, чем пахло когда-то у бабушки в Полтавской области. От этого запаха у меня защипало в носу. Я велела себе не раскисать и прибавила шаг.

Деревня уже давно не спала. Мычала скотина, скрипели журавли колодцев, хлопали ставни. Где-то у реки стучали вальком по белью. На меня смотрели. Смотрели из-за заборов, из окон, из-под руки от сараев. Стайка ребятишек увязалась следом на почтительном расстоянии, шушукаясь и толкаясь. Я узнала вчерашних наблюдателей из кустов.

У колодца стояли три бабы с ведрами. При моем приближении они склонили головы друг к другу и зашептались, не сводя с меня глаз.

Прятаться и семенить я не собиралась. Я подошла к колодцу ровным шагом и поздоровалась первой.

— Доброго утра, хозяйюшки.

Шепот замолк. Бабы вразнобой закивали. Самая бойкая, круглолицая, в цветастом платке, уперла руки в бока и оглядела меня с откровенным любопытством.

— И тебе не хворать. Ты, стало быть, и есть та городская, что вчера у Фаронов объявилась?

— Объявилась, — согласилась я. — Недолго пробыла. Не сошлись характерами. Теперь сама по себе живу, на краю у

леса.

— В развалюхе старой Готты? — Баба всплеснула руками.
— Матерь Заступница, да там же крыша насквозь светится! Там лет десять никто не жил!

— Значит, буду первой за десять лет. Крышу починим, стены подлатаем. Дом крепкий, печь хорошая, остальное дело рук.

Бабы переглянулись. В их взглядах читалось искреннее сомнение в моих умственных способностях, пополам с интересом. Городская девка в платье прислуги, поселившаяся в развалюхе на отшибе, была для деревни событием почище ярмарки.

— Дело рук, — повторила бойкая и хмыкнула. — Ну-ну. Белоручка, небось? Руки-то к тяжелой работе приучены?

— Приучены.

— Ишь ты. — Она прищурилась, но уже без ехидства. — Зося я. Вон мой двор, с синими ставнями. Понадобится чего, заходи, не съем.

— Светлана.

Имя вылетело раньше, чем я успела подумать. Ну и пусть. Элеонора для деревни все равно было имя неподъемное, а Светланой я прожила шестьдесят три года и меняться не собиралась.

— Ишь ты, — повторила Зося. — Светлана. Ну, бывай, Светлана. Поглядим, какая ты хозяйка.

Я кивнула на прощание и пошла дальше. Пусть глядят.

Мне с ними еще жить бок о бок, а деревня уважает не слова и не платья. Деревня уважает результат.

Кузню я нашла по звону. Она стояла на отшибе за последними дворами, у ручья. Из распахнутых ворот тянуло жаром и окалиной. Внутри у наковальни ворочался мужик размером с платяной шкаф. Борода у него была рыжая с подпалинами, кожаный фартук лоснился от старости, а руки были толщиной с мою ногу. В углу мальчишка-подмастерье качал мехи.

— Доброго утра, мастер.

Кузнец поднял голову. Увидел меня и застыл с молотом на весу. Взгляд его медленно прошелся по моему лицу, по платью прислуги, по городским ботинкам. Подмастерье перестал качать и открыл рот.

— Ты никак заблудилась, красавица. Лавка с лентами и бусами на другом конце деревни.

— Ленты мне без надобности. Мне нужен молоток, гвозди, топор и хорошие петли с засовом.

Кузнец аккуратно, без стука, положил молот. Подошел ближе, вытирая ладони о фартук. Смотрел он на меня как на говорящую козу. С интересом, но без доверия.

— Молоток. Тебе.

— Мне.

— А гвоздить кто будет? Муж, брат?

— Я и буду. Или у вас в деревне гвозди какие-то особенные, женской руке неподъемные?

За спиной кузнеца хохотнул подмастерье и тут же сделал вид, что закашлялся. Кузнец крикнул, почесал бороду и полез на полки.

— Гвозди тебе подо что? Гвоздь он разный бывает.

— Дверь навесить. А еще пол перестелить да крышу перекрыть, но это работа с досками, тут одной пары рук мало.

— Постой. — Он обернулся со связкой в руке и прищурился. — Пол перестелить, крыша течет. Это ты, выходит, та, что в развалюхе старой Готты поселилась? У леса?

— Новости у вас тут быстрее ветра.

— Деревня. — Гаррик хмыкнул в бороду. — У нас чихнешь на одном конце, на другом уже здоровья желают.

Гремел он на полках долго, выбирал придирчиво. На стол передо мной легли молоток с гладкой ясеновой ручкой, топор со свежим топорищем и две связки гвоздей, завернутые в тряпицу, покороче для досок и подлиннее для петель. Петли он перебирал отдельно, откладывал, взвешивал на ладони. Наконец выбрал пару потяжелее и добавил к ним кованый засов в ладонь длиной.

— Работа честная, железо доброе. Восемь медяков за все.

Началось самое интересное. Торговаться я умела и любила. Тридцать лет очередей, рынков и завхоза Клавдии Семеновны, у которой я выбивала перевязочный материал для отделения, стояли за моими плечами несокрушимой стеной.

— Восемь. За топорище с трещиной?

Я взяла топор и повернула его к свету. Трещина там была

скорее царапина, волосок у самого обуха, но кто же признается.

— Где трещина? Нет там трещины!

— Вот здесь, под самым обухом. Сегодня волосок, а через месяц, на первой сырой колоде, будет щель. Шесть медяков, мастер, и я никому не скажу, что вы продаете женщинам лежалый товар.

— Лежалый?!

Кузнец побагровел и навис надо мной всей своей шкафообразной тушей. Дышал он как самовар. Я не отступила ни на шаг и смотрела ему ровно в бороду, выше все равно не доставала. В приемном покое на меня, бывало, замахивались граждане и покрупнее. Правда, тех обычно держали санитары, а тут санитаров не наблюдалось.

Пауза затянулась. Подмастерье у мехов замер, боясь дышать. Потом в рыжей бороде что-то дрогнуло. Кузнец запрокинул голову и захохотал так, что с полки посыпалась мелкая скобянка.

— Ну и зубастая! — Он утер глаза кулаком. — Юшка, глянь на нее! Мужики мне в глаза такое сказать бояться, а эта стоит и не моргает! Семь медяков, зубастая, и забирай, пока не передумал. И засов в подарок. Такой боевой бабе в доме без засова никак нельзя, а то мало ли кто на огонек забредет.

— По рукам, мастер...

— Гаррик.

— По рукам, мастер Гаррик. Меня Светлана зовут. Будет

еще нужда в железе, приду к вам.

— Заходи. — Он ссыпал мои медяки в карман фартука и прищурился. — Слышь, Светлана. Про пол и крышу. Одна не осилишь, дранку класть дело хитрое. Спросишь Косого Тима с нижнего конца, он с доской и дранкой сам управлется, за еду и пару медяков полдеревни перекрыл. Скажешь, Гаррик прислал.

Вот так, с покупками и с первым союзником, я вышла из кузни. Провожал меня Гаррик уже другим взглядом. Уважительным.

К Косому Тиму я завернула сразу, не откладывая, пока совет, как говорят, не остыл. Двор его на нижнем конце я нашла по штабелю досок под навесом. Сам Тим оказался жилистым мужичком неопределенных лет, с прищуром на левый глаз, за который, надо думать, и получил прозвище. Говорил он мало, слушал внимательно, глядя при этом куда-то мимо меня, что при его прищуре выглядело загадочно.

Я перечислила по пальцам. Перестелить пол у дальней стены. Перекрыть северный скат крыши. Навесить на оба окна крепкие ставни, чтобы закрывались изнутри на засовчик. Доска и дранка его, харчи и медяки мои.

— А стекла? — спросила я на всякий случай. — Возят к вам стекла?

— Возят. — Тим глянул на меня с сомнением. — По осени купец из города бывает, у него и стекло, и пузырь бычий. Только стекло, хозяйка, кусается. За один твой проем как за

хорошую козу отдашь.

Я прикинула свои капиталы и мысленно махнула рукой. Коза мне самой была нужнее окон. Стекла подождут до зимы, а вернее, до денег. Пока обойдемся ставнями, днем открыла, на ночь заперла, и никакой зверь не страшен.

— Пять медяков в день, — сказал Тим, поразмыслив. — И харчи.

— Четыре с половиной. И крынка молока сверху, каждый день.

Тим поскреб затылок, посмотрел мимо меня еще загадочнее и кивнул. Сговорились. Придет послезавтра с утра, как закончит у старосты.

— Дом-то у Готты крепкий был, — сказал он на прощание. — Сухой стоял, оттого и не сгнил. Старуха печь берегла. Печь там знатная, таких больше не кладут.

Про печь я и сама уже все поняла.

В продуктовой лавке дело пошло проще, хотя и не без спора. Лавочник, сухонький и въедливый, с цепкими глазками, сначала попытался взвесить мне крупу вместе с холщовым мешочком. Я вежливо попросила перевесить без мешочка. Он вздохнул так, словно я отнимала у него последнее, и перевесил. Потом попытался подсунуть яйца вперемешку, свежие с лежалыми. Лежалые я определила на просвет у окна и так же вежливо попросила заменить четыре штуки. Он посмотрел на меня с тоской, как двоечник на завуча, и заменил.

Дальше пошла посуда и мелочь, без которой дом не дом.

Две глиняные миски, две кружки, деревянные ложки, кухонный нож с деревянной ручкой. Чугунный чайник, выдавший виды, зато без единой трещины, я его простучала и просмотрела со всех сторон. Иголки с нитками, простыми и суровыми. Огниво с кресалом, чтобы не трястись над углями в очаге, как курица над яйцом. И отрез мешковины на окна. Лавочник к концу списка подобрел лицом и даже сам завернул мне иголки в тряпицу. К финалу закупки мы с ним прониклись друг к другу глубоким взаимным уважением, какое бывает только у достойных противников.

Домой я возвращалась нагруженная, как выючная лошадь. Крупа, соль, десяток яиц, крынка молока, шмат сала, мука, моток бечевки, посуда, чайник, мешковина, инструменты. Лямки сумки резали плечи, в руках оттягивали ладони узлы. Молодое тело тащило все это хозяйство и даже толком не запыхалось. Нет, определенно, за такое тело этому миру можно было простить очень многое.

Ребятишки проводили меня до самого пустыря и рассыпались по кустам. Кот встретил меня на том же пеньке, обнюхал сумку и одобрительно муркнул.

— Подлиза, — сказала я ему. — Сало учуял. Заработай сначала.

До вечера я работала. Первым делом пришел черед двери. Старые петли держались на честном слове и ржавчине, я их сняла, а новые прибила намертво, загнув острия гвоздей с изнанки, по-стариковски. Дверь села плотно, перестала хо-

дить ходуном и скрестись о косяк. Засов я врезала на уровне груди, трижды проверила, как он ходит, и осталась довольна. Ходил он туго, с солидным железным лязгом. Музыка, а не лязг.

Окон в доме было два, оба в жилой комнате при печи. Одно глядело на двор и дорогу к деревне, второе на лес. Оба я затянула мешковиной в два слоя, прихватив гвоздями по краям. Времянка до ставней, но на пару ночей сойдет. Лесное окно завесила плотнее и для верности приставила к нему изнутри лавку. Мешковина света почти не пропускала, зато и ветер тоже.

Пальцы к концу работы гудели, по ладоням расплылись свежие занозы, большой палец я один раз приложила молотком и высказала по этому поводу все, что думаю, шепотом, чтобы не смущать кота. Зато дверь теперь закрывалась. Мой дом стал моей крепостью. Ну, или хотя бы перестал быть проходным двором.

Занозы я вытаскивала новой иглой .

Под вечер я натащила с опушки сушняка, благо его там лежало на годы вперед, и порубила у крыльца на поленца. Топор сидел в руке ладно, по дереву шел легко. Заодно нащепала пучок лучины про запас и отложила десяток жердин поровнее, на хозяйство сгодятся.

По молодости, когда жила в деревне, я и дрова сама колола, и баню топила, так что опыт был.

На ужин я сварила первую настоящую кашу. В чугушке, на

костре во дворе, с солью и куском сала. Крупа побулькивала, пар поднимался над котелком, и пахло так, что у меня свело скулы, а кот начал наматывать вокруг костра круги, как заведенный.

Ели мы отдельно. Я из миски, а коту я выложила кашу на кусок древесной коры.

Каша была перловая, разваристая, чуть подгоревшая снизу. В прошлой жизни я бы такую есть не стала, у меня по кашам был отдельный принцип. В этой жизни она показалась мне вкуснее любого деликатеса. Все-таки голод и честный труд лучшие приправы на свете, никакая кулинарная книга с ними не поспорит.

Кот вылизал кору и завалился у огня кверху пузом. Наглая рыжая морда выражала полное и окончательное довольство жизнью.

— Вот что, гражданин, — сказала я ему. — Живем вместе третий день, а ты все безымянный ходишь. Непорядок. В приличном хозяйстве даже куры по именам.

Кот приоткрыл один желтый глаз.

— Будешь Кузьмой. Мне тут позавчера родня кузькину мать обещала показать. Так вот, докладываю обстановку. Кузьма у меня уже есть. Осталось дожждаться, когда они за матерью пожалуют. Встретим всей семьей.

Кузьма зевнул во всю розовую пасть и перевернулся на другой бок. Возражений не последовало. В нашем доме вообще устанавливалась приятная атмосфера .

После ужина я подводила итоги. Пол и крыша с послезавтрашнего дня на Тиме. Дымоход проверить самой, и тянуть с ним нечего, без печи в этом доме ни зимы не пережить, ни толком не приготовить.

Потом я под села к огню, развязала мешочек и пересчитала остаток. Кучка медяков за один день заметно отошала. Три серебряные монеты я не тронула, но и они, будем честны, погоды не делали. Арифметика выходила простая и неприятная, как утренний обход после праздников. Деньги заканчивались куда быстрее, чем хотелось. А прибавляться им было неоткуда вовсе.

Я затушила костер, зашла домой, задвинула засов, послушала его солидный лязг и легла. Кузьма по-хозяйски устроился в ногах.

«Запасы кончатся, и что дальше?», думала я, глядя в темноту на отсветы углей. «Побираться не пойду, к Фаронам на поклон тем более. Проедать последнее удел слабых. Нужен постоянный источник, хоть маленький, хоть с воробыный нос. Капля по капле, а ручеек течет».

За стеной звучал ночной лес.. Под боком сопел кот с новым именем.

С источником я решила разобраться завтра. И заснула раньше, чем додумала эту мысль до конца.

Утром я проснулась с готовым решением. Так бывало у меня всю жизнь. С вечера загружаешь в голову задачу, утром получаешь ответ. Голова за ночь сама раскладывала все по полочкам, только успевай записывать.

Ответ был простой. Если каждый день бегать в лавку за едой, никаких медяков не напасешься. Нужно, чтобы еда сама у меня во дворе водилась. А что в деревне водится само и притом каждый день? Правильно, куры. Две несушки дают в день два яйца. С двумя яйцами в день мы с Кузьмой с голоду уже не помрем ни при каком раскладе. Яйцо продукт универсальный, хоть в кашу, хоть в тесто, хоть соседям на обмен. А дальше можно и о наседке подумать, и о цыплятах, и, чем боги не шутят, о собственном курином поголовье.

— Кузьма, слушай приказ по гарнизону, — объявила я коту за завтраком. — Сегодня заводим кур. Учти сразу и запомни навсегда. Куры это не еда. Куры это кормильцы. Кто тронет несушку хоть когтем, пойдет жить в лес, к тем, которые воют. Вопросы есть?

Кузьма сощурился и обернул лапы хвостом. По наглой морде было видно, что своя точка зрения на кур у него имеется, но озвучивать ее он до времени не станет. Дипломат.

Только сначала курам требовалось жилье. В дом птицу не поселишь, не место птице в жилье, птице положен загон во

дворе. А вот с двором у меня были сложности. Двор зарос так, что где там что стоит, я толком и не знала. Бурьян поднимался по пояс, а местами и по грудь, и даже забора из этих джунглей было не разглядеть, торчали только верхушки столбов.

Значит, с бурьяна и начнем. И место под загон расчистим, и хозяйство свое наконец разглядим, что мне тут, собственно, досталось.

Дергала траву я с разбором. Прополка у меня быстро превратилась в сортировку, как в приемном покое. Этим лечить, этим кормить, это на выброс.

Крапивы вдоль забора стояли целые заросли, жгучей, злой. Молодые верхушки я оборвала в подол, из них выйдет и похлебка, и начинка в лепешки, зелень по весне первое дело. Остальную крапиву резала и вязала в пучки, сушить под навесом. Сушеная крапива зимой на вес золота, и людям в суп, и курам в мешанку, несутся от нее так, что только успевай яйца собирать. Это я еще от тети Мананы знала, она своим несушкам крапиву запаривала всю зиму.

Лебеды намяла охапку, молодые листья в дело, в тесто и в похлебку, не деликатес, но сытно. Одуванчиков накопала с корнями, листья вымочить от горечи и в еду, худая зелень лучше никакой. У самого крыльца, на утоптанном, нашлась ромашка, мелкая, пахучая, аптечная. Эту я собирала бережно, в отдельную тряпицу. Ромашка это желудок, это горло полоскать, это младенца искупать, если что. Аптека под но-

гами, даром что мир другой.

Подорожник я тоже не обошла, нарвала листьев покрупнее, сполоснула в ручье и развесила сушиться. Порезы и ссадины в хозяйстве дело ежедневное, а бинтов тут не продают. Полынь, серебристую и горькую, срезала охапкой. Пучок в дом от моли, остальное курам в подстилку, от блох и всякой мелкой нечисти лучше средства не придумали. Пижму, что желтела у забора, тронула с осторожностью, пучок повесила у двери от мух, а курам ее нельзя, ядовита, это я помнила твердо.

А самое ценное для будущих кормилиц росло прямо посреди двора, на самом солнце. Мокрица, нежная, сочная, стелилась ковром, и птичья гречишка, спорыш, тот самый, что топчется у любого деревенского крыльца. Для кур это первое лакомство, лучше всякого зерна. Эти полянки я не тронула, пусть растут, кормилицам на выпас.

Заодно с бурьяном открылся и забор. Осмотрела я его с большим интересом, как наследство, собственно, им он и был. Столбы у Готты стояли дубовые, вкопанные на совесть, такие и за пятьдесят лет не шелохнутся. Со стороны деревни и с южной стороны и жерди держались крепко, хоть коня привязывай. А вот со стороны леса два пролета сгнили и завалились внутрь. Дыра выходила такая, что заходи кто хочешь, хоть лиса, хоть соседская коза. Я пошевелила гнилую жердину носком ботинка. Труха.

Забор я мысленно дописала Тиму к списку, вслед за по-

лом, крышей и ставнями. Доска у него своя, столбы стоят, работы на день.

Половину бурьяна я к обеду одолела, вторую честно оставила на потом, но двор уже было не узнать. Открылась тропинка к ручью, у навеса висели и сохли пучки, крапивные, полынные, ромашковые, каждый на своем гвоздике. Пахло сеном и горькой травой. Руки у меня горели от крапивы, несмотря на тряпку, которой я их обматывала, спина честно напоминала о себе. Зато двор становился двором, а не лесной опушкой.

Пообедала я вчерашней кашей и взялась за загон.

Место выбрала у южной стороны, где забор стоял целехонький, с подветренной стороны, чтобы зимой не задувало. В дело пошли жерди, которые я вчера отложила, когда рубила сушняк, и еще пришлось добрать с опушки. Я рубила колья потолще, в руку, затесывала концы и вбивала обухом в мягкую землю, плотно, кол к колу, частоколом, чтобы ни лиса морду не просунула, ни хорек не протиснулся. Одной стеной загона стал сам забор, три другие выросли за пару часов работы. Поверху я связала колья бечевкой для крепости, а сверху положила жерди крест-накрест и придавила камнями, от всякого, кто умеет прыгать.

В углу загона из хлама образовался куриный терем. Старая бочка, без крышки и без дна, уложенная на бок, одним торцом вплотную к забору, чтобы не сквозило. Внутри сено, поперек жердочка-насест. От дождя сверху кусок старой

доски с наклоном. Хоромы не хоромы, а от непогоды укроет, и гнездо есть где устроить.

Я отошла, посмотрела на дело своих рук и осталась довольна. По молодости у нас в деревне такой загородкой весь птичник обходился, и ничего, жили.

За курами я нарочно собралась ближе к вечеру. Сонную птицу переносить легче, переночует на новом месте, утром проснется и примет его за родное, это еще тети Мананина наука. Я взяла моток бечевки, платок побольше и отправилась в деревню.

У колодца меня нагнала Зося с пустыми ведрами. Расспросила куда я собралась и подсказала.

— К Улите, стало быть, надо. — Она пристроилась рядом, ведра у нее позвякивали в такт шагу. — Пошли, провожу, мне в ту сторону. Ты с ней построже. Она хитрющая, как лиса о двух хвостах. Приедем всегда старье сплавляет. В том годе мельникову зятю такого петуха продала, что он кукарекать не мог, только сипел.

Дальше Зося болтала про своих. Про мельника, про то, что у Роситы корова стельная, а у самой Зоси молока девать некуда, хоть на дорогу выливай. Деревенские новости лились из нее, как из радиоточки. Я слушала и мотала на ус. Информация лишней не бывает, а молоко, которого девать некуда, я запомнила отдельно. У меня с послезавтрашнего дня работник на харчах, и крынка в день ему обещана.

Улитин двор я оценила еще от калитки. Крепкий, ухо-

женный, с высоким птичником. По двору с солидным достоинством разгуливали куры, десятка два, при них состоял огромный петух в изумрудных перьях. Сама Улита, сухонькая, востроносая, в темном платке по самые брови, возникла на крыльце раньше, чем я успела постучать.

— Кур ей, — проскрипела она, выслушав меня и разглядывая с головы до ног. — Городская, что ли? Кур она держать собралась. Ты их хоть раз в руках держала, кур-то, или только в супе видала?

— Держала, — честно ответила я.

Держала, и еще как. У тети Мананы, моей соседки по даче, царствие ей небесное, было десять несушек, и я эти дачные науки за пятнадцать лет прошла от и до. И кормила, и поила, и от пероеда лечила, и рубила по осени, чего уж там. Дача она многому научит.

— Ну гляди, ученая.

Улита распахнула калитку в птичий загон. Изнутри пахнуло теплом, пометом и сеном. Бабка цепко глянула на меня, поджала губы и вдруг ловко, одним движением, выхватила из общей толпы пеструю курицу.

— Вот. Красавица, а не птица. Спелая, ладная. Отдам за пять медяков, и то только из уважения, что ты новоселка.

Красавица висела у нее под мышкой и смотрела на меня мутным равнодушным глазом. Я молча приняла птицу в руки и начала осмотр. Так. Гребень бледный, сморщенный, сухой на ощупь. Клюв длинный, переросший, желтый, как ста-

рая канцелярская линейка. Ноги в грубых чешуйчатых наростах, шпоры сточены. Живот под пером жесткий, поджатый.

Медкомиссию гражданка не проходила ни по одной статье. Хоть сейчас на пенсию по выслуге лет.

— Хорошая птица, — согласилась я, возвращая курицу. — Заслуженная. Лет пять честно отработала, теперь ей одна дорога, в суп, и то варить долго придется. За суповую птицу пять медяков дорого, тетя Улита. Ей два медяка красная цена, и то по большим праздникам.

Улита моргнула. Из-за забора, я видела краем глаза, уже заглядывали две соседки. У одной в руках застыло на весу коромысло. Представление шло при полном зале.

— Чегой-то в суп? — Бабка задрала подбородок. — Она несется!

— Неслась. Года два назад, и то через день. Гребень смотрите какой, бледный да сухой. У рабочей несущки гребень алый, теплый, налитой. Клюв отрос, ноги в наростах, это возраст, его не спрячешь. И живот твердый, поджатый, а у птицы, которая несется, он мягкий, разношенный. Хотите, при вас прощупаю любую вашу молодку для сравнения?

Говорила я спокойно, по-деловому, как на пятиминутке при заведующем. Улита слушала, и глаза ее из колючих постепенно делались круглыми, как у совы.

— Ты откуда такая грамотная выискалась?

— Жизнь научила, тетя Улита. Давайте так. Вы мне не рассказываете сказки про красавиц, а я вам не сбиваю цену

без дела и по деревне лишнего не болтаю. Мне нужны две молодки. Прошлогодние, в самом соку, чтобы неслись сейчас и неслись еще года три. Выбирать буду сама, руками. Заплачу честно, по восемь медяков за голову. Это хорошая цена, вы ее знаете.

Соседки за забором вытянули шеи так, что коромысло поехало вбок. Улита пожевала губами, посверлила меня взглядом. Я взгляд выдержала, у меня в этом деле стаж.

— По девять, — сказала она наконец.

— По восемь с половиной. И я всей деревне расскажу, что у Улиты самая лучшая птица в округе. От такой рекламы у вашей калитки очередь встанет.

— Тыфу на тебя, зараза городская. — Бабка махнула сухонькой рукой, но в углах губ у нее дергалось что-то подозрительно похожее на усмешку. — Забирай. Выбирай, коли такая ученая.

Выбирала я долго, с чувством, с толком. Перебрала шесть кур. Смотрела гребни, заглядывала под перо, щупала животы, оценивала, как птица сидит в руках, вялая или тугая, как пружина. Соседки за забором комментировали вполголоса каждое мое движение. Улита сначала фыркала и поджимала губы, потом не выдержала и начала подсказывать, азарт есть азарт, он и бабку берет. Петух в изумрудных перьях ходил за мной по пятам и возмущенно клекотал, пересчитывая свой гарем.

В итоге я отобрала двух ладных молодок. Одну рыжую,

спокойную, основательную, со взглядом отличницы. Вторую черно-пеструю, с алым гребнем набекрень и явным шилом в одном месте.

Тут и пригодилась бечевка. Я спутала обеим ноги, не туго, но надежно, как учила тетя Манана, и приняла рыжую под мышку, головой назад. Птица в таком положении смиреет и едет спокойно, проверено. Пеструю Улита помогла пристроить под вторую руку.

— Донесешь? — усомнилась она. — Может, за мешком сходить?

— В мешке запарятся, день теплый. Донесу, тетя Улита. Не такое носили.

— И это. — Бабка подвязала мне к поясу тугой мешочек, руки-то у меня были заняты. — Зерна возьми на первое время, задаром отсыпаю. Молодкам с перепугу неможется первые дни, так ты их зерном приваживай. Петух у меня по весне на продажу будет, от этого вот красавца. Заходи.

— Доживем до петуха. Спасибо.

Обратная дорога далась мне тяжелее всех торгов вместе взятых. Рыжая молодка висела под мышкой смирно, как и положено отличнице. Пестрая оказалась с характером и рвалась к свободе каждые десять шагов. На середине пустыря она изловчилась, выпростала крыло из-под платка и захлопала им с воплем на всю округу, дурным, пожарным. Из бурьяна тут же вынырнули вчерашние ребятишки и уставились на меня во все глаза. Со стороны это наверняка выглядело

как похищение со взломом и сопротивлением потерпевшей.

— Чего рты раскрыли? — спросила я, усмиряя скандалистку локтем. — Кур не видели? Вот ты, шустрый. Иди сюда. Понесешь рыжую, только держи под мышкой крепко и головой назад, вот так. Уронишь кормилицу, будешь сам вместо нее нестись.

Шустрый, вихрастый пацаненок лет восьми, подскочил и принял рыжую с таким серьезным лицом, будто ему доверили знамя полка. Так и дошли до двора, торжественной процессией, я со скандальной пеструхой, пацаненок с рыжей, остальная ребятня почетным караулом по бокам. У калитки я первым делом отправила обеих кормилиц в загон, распутав им ноги, а уже потом развязала мешочек и выдала каждому из провожатых по горсти зерна, не курам, а так, за службу, велела передать матерям поклон и отправила ребятню восвояси. Умчались, гомоня. Первый контакт с местным подрастающим поколением прошел на высшем уровне.

Кузьма встретил новых жильцов на пеньке. Услышал куриный ор, встал, выгнул спину дугой и распушился ровно вдвое.

— Отставить, — велела я. — Забыл приказ по гарнизону? Это кормилицы. Знакомьтесь и живите дружно.

В загоне куры походили, поквохтали, попробовали частокол на клюв, отыскивали мокрицу у забора и принялись деловито ее выщипывать. Бочка-терем была обследована и одобрена, на жердочку пеструха взлетела первой и оттуда огляде-

ла двор с видом коменданта. Обживутся.

Рыжую я окрестила Рябой, для порядка и по традиции. Пеструю, после ее концерта на пустыре, иначе как Сиреной называть уже не получалось. Голосила она точь-в-точь как карета скорой на выезде.

Кузьма сел у частокола и уставился на новых жильцов немигающим желтым взглядом. Сирена подошла с той стороны и уставилась на него в ответ, склонив голову набок. Гляделки продолжались с минуту. Потом Кузьма моргнул первым, сделал вид, что ему срочно нужно умыться, и удалился с достоинством. Куры на кота с этой минуты внимания не обращали принципиально. Паритет установился сам собой, без единой жертвы.

Вечером я замесила тесто на лепешки. Мука, вода, щепоть соли, ложка топленого сала для мягкости. Раскатала на чистой доске ошкуренной круглой палкой, за неимением скалки, и разложила лепешки на плоских горячих камнях у костра во дворе, печь-то у меня пока стояла холодная. В пару лепешек завернула рубленую крапиву с яйцом, проверить, пойдет ли здешняя зелень в дело. Тесто зашипело, начало подниматься пузырями и румяниться по краям.

И вот тут меня накрыло.

Запах. Запах горячего теста с дымком. Я замерла над огнем с деревянной лопаткой в руке и на секунду оказалась за тридевять земель отсюда. За тридевять земель и за целый мир. На даче, на соседском участке, под навесом летней кух-

ни, где на столе, укрытом клеенкой в вишенку, всегда стояло облако просеянной муки.

Тетя Манана раскатывала тесто на лодочки и ругала меня, что я жалею сыр.

«Светка, слушай, кто так делает. Сыра клади, не бойся. Тесто это лодка, сыр это море. Моря должно быть много, иначе зачем лодка».

У нее были руки в муке по локоть, серебряное кольцо, которое она никогда не снимала, и седая прядь, вечно выбивавшаяся из-под косынки. Хачапури по-аджарски она пекла так, что по субботам к ее калитке подтягивался весь дачный кооператив, с банками, с гостинцами, с разговорами. И меня, соседку через забор, за пятнадцать лет выучила всему. Как ставить тесто, чтобы дышало. Как мешать сыр, чтобы тянулся. Как защищать углы лодочки. Как в самом конце, на минутку, вбить в серединку яйцо и как потом мешать его желток с горячим сыром, по кругу, не спеша.

«Ты, Светка, руки правильные имеешь. Жалко молодая еще, мужа нет, кормить некого. Ничего. Руки запомнят, когда-нибудь пригодится».

Я сглотнула и вернулась к своим лепешкам. Перевернула. Посолила. Сняла первую на чистую тряпицу.

Тети Мананы давно не было на свете. И дачи не было, и кооператива, и всего того мира теперь тоже не было, по крайней мере для меня.

«Ничего», сказала я себе и вытерла щеку плечом, на ще-

ку попала то ли мука, то ли слеза. «Вот наладим хозяйство, разживемся сыром и маслом. Испеку. Помяну тетю Манану по-человечески, как она заслужила».

Одна беда. На открытом огне хачапури не испечь, лодочке нужен ровный жар со всех сторон, сверху и снизу, иначе тесто сгорит, а сыр не расплавится. Я оглянулась через плечо на дом. Там, внутри, стояла печь. Огромная, каменная, сложенная на совесть, она занимала четверть дома и десять лет ждала хозяйку. Такая печища при рабочем дымоходе могла бы выпекать хоть лодочки, хоть караваи на всю деревню.

Дымоход. Завтра первым делом дымоход. Я записала это в голове красным карандашом и подчеркнула.

Ужинали мы всем колхозом. Я ела лепешки, и крапивные удались на славу, зелень здесь была правильная, злая, витаминная. Кузьма получил свою законную долю сала и шкурку. Ряба с Сиреной доклевывали зерно в загоне и устраивались в бочке на ночлег. Семейство за один день выросло вдвое, и кормить его стало не накладнее, а веселее. Странная арифметика, но проверенная жизнью.

Улеглась я на свое сено, укрылась плащом. Сено подомной шуршало и кололось сквозь платье, за день оно сбилось в комья, и один комок упирался ровно под лопатку. Я поворачивалась, устраиваясь.

«Вот починит Тим крышу и пол», думала я, пристраивая под голову свернутую тряпицу, «схожу в лавку за отрезом полотна. Сошью матрас и подушку, набью соломой. Человек

должен спать по-человечески, иначе какой из него человек».

С этой хозяйственной мыслью я и провалилась в сон.

Ночью меня разбудил вой.

Он шел из леса, тягучий, вибрирующий, поднимался над чащей и обрывался на низкой ноте. Кузьма поднял голову у меня в ногах и заворчал, тихо, утробно. Во дворе вполголоса заклохотали и смолкли куры.

Я лежала и слушала. Вой повторился, и теперь я разобрала ясно. Голосов было два. Один тянул низко, из глубины леса, второй отзывался выше и правее, ближе к тракту. Первый выводил свое, второй подхватывал и обрывал точно там же, нота в ноту.

Волки так не воют. Волчий хор я слышала в деревне по молодости и запомнила на всю жизнь, там каждый тянет свое и вразнобой. А тут выходило слишком складно. Один спросил, другой ответил. Так не воют. Так аукаются.

А люди по ночам в лесу просто так не аукаются.

Я повернулась на другой бок и подтянула плащ повыше. Дверь на засове, куры в загоне, до леса от моего забора полсотни шагов, и никому я там не нужна, взять с меня нечего. Чужие дела, не моя забота.

Пока не моя.

Проснулась я до света, сама, без петухов. День предстоял большой, и организм это понимал не хуже меня.

Первым делом я проведала кур. Ряба с Сиреной сидели в бочке рядышком, нахохлившись, и на мое «доброе утро, девочки» ответили сдержанным квохтаньем. В сено под жердочкой я заглянула без особой надежды, и правильно, пусто. Улита предупреждала, молодкам после переезда неможется, неделю могут просидеть без дела.

— Не подгоняю, — сказала я им, подсыпая зерна. — Обживайтесь. Но имейте в виду, план по яйцу с вас никто не снимал.

Сирена посмотрела на меня одним глазом, боком, как ревизор на растратчика. Характер у птицы был, этого не отнять.

Пока не пришел Тим, я сбегала в деревню, к Зосе. Долг, как известно, платежом красен, а обещание молоком. Работнику была уговорена крынка в день, а коровы у меня, по понятным причинам, не водилось.

Зося уже возилась во дворе, гремела подойником. Синие ставни у нее были распахнуты, из трубы тянуло дымом, у крыльца толкались двое босых мальчишек, в одном я признала вчерашнего знаменосца, того самого, что нес Рябу.

— Ранняя ты, — одобрила Зося вместо приветствия. — Ну, чего пришла, говори. По лицу вижу, не просто так.

— Молоко мне нужно, крынка в день. Ты говорила, девать некуда.

— Говорила. — Зося оперлась на подойник и прищурилась. — А платить чем будешь? Медяками, поди, не богата, раз с Тимом на харчи договаривалась.

Вот что мне нравилось в деревне, так это скорость информации. Тим у меня еще и молотка в руки не взял, а Зося уже знала и про наш уговор, и про харчи, и про состояние моего кошелька. Скрывать что-то здесь было делом безнадежным, оставалось этим пользоваться.

— Медяками не богата, — согласилась я честно. — Предлагаю обмен. Я пеку лепешки. Завтра куры разнесутся, буду печь с яйцом и с зеленью. Крынка молока против двух лепешек, каждый день. Твоим мальчишкам как раз к обеду.

— Лепешки. — Зося хмыкнула, но глаза у нее заинтересованно блеснули. — Больно надо, я и сама пеку.

— Печешь. А у меня рука легкая. Ты попробуй сперва, потом отказывайся.

Я развернула тряпицу и выложила две вчерашние, с крапивой. Расчет у меня был простой и проверенный, дегустация двигатель торговли, это вам любой продавец с рынка подтвердит.

Зося откусила. Прожевала. Посмотрела на лепешку с недоверием, будто та ее обманула, и откусила еще раз.

— С крапивой, что ль?

— С ней. И с яйцом.

— Ишь ты. — Она дожевала и вытерла руку о передник.

— Ладно. Крынка против двух лепешек, по рукам. Только гляди, чтоб каждый день, у меня мальчишки к дармовому быстро привыкают. И вот, луковиц возьми в придачу, у меня их полон подпол. В похлебку тебе сгодятся, у тебя, поди, и той луковицы в доме нет.

Домой я возвращалась с крынкой, связкой луковиц и с первым в этой жизни торговым договором. Оборот у моего предприятия пока был две лепешки в день, зато рентабельность, как говорил один знакомый главврач, радовала.

Тим пришел, когда солнце только оторвалось от леса. Пришел не один, а с груженной тачкой, доски, дранка, инструмент в холщовой скатке. Молча кивнул мне, молча обошел дом кругом, потрогал стены, поковырял пальцем завалинку, задрал голову на крышу. Осмотр занял у него времени больше, чем иной разговор.

— Пол сперва, — решил он наконец. — Крыша завтра, по росе дранку не кладут. Ставни к вечеру сколочу.

— И еще забор, — сказала я. — Два пролета с лесной стороны завалились. Доска ваша, работы на полдня. За это отдельно, сговоримся.

Тим сходил к лесной стороне, попинал гнилые жерди, вернулся.

— Два медяка сверху.

— Медяк и обед двойной. Готовлю я хорошо, не пожалейте.

— Поглядим, — сказал Тим, и по его лицу было решительно непонятно, согласился он или нет.

Как выяснилось к обеду, согласился.

Но до обеда было еще далеко, а у меня со вчерашнего вечера чесались руки добраться до дымохода. Без печи все мои планы, от хлеба до зимовки, не стоили и медяка. Тима сама судьба принесла, одной мне на крышу лезть было бы несподручно.

— Тим, — спросила я, пока он выгружал доски. — Крыша у нас, я помню, на завтра. А на трубу сегодня слазить сможешь? Печь топить надо, а она десять лет холодная стояла, поди, заросло там все.

— Труба не дранка, — рассудил Тим. — По росе можно.

И полез. Сверху донеслось хмыканье, потом в трубе зашуршало, и в холодное устье печи шлепнулся ком прелой соломы вперемешку с прутьями. За ним второй.

— Галки, — сообщил Тим с крыши. — Гнездились. Годов пять гнезду, не меньше. Спускай веревку, ерша сделаем.

Ерша мы соорудили из можжевелевого лапника, увязанного в тугой веник, с камнем для веса. Тим спускал его сверху на веревке, я ловила снизу, у выюшки. Из трубы летела сажа, сухая, черная, пластами, летели остатки гнезд, какая-то труха. Я вымазалась по локоть и по самые брови, зато после третьего прохода ерш пошел свободно, а в устье печи потя-

нуло сквознячком. Тяга ожила.

— Топи помалу, — сказал Тим, спустившись. — Первый огонь малый, трубу прогреть. Сразу большой нельзя, кладку порвет.

Учить меня топить печь нужды не было, но я кивнула с уважением. Человек дело говорит, а дельный совет и повторить не грех.

Пока Тим возился с полом, я полезла выгребать из печи галочье наследство и заодно разобрала запечье. И вот там меня ждал самый настоящий клад.

В глубокой нише за печью, под слоем пыли и мышинного сора, хранилась вся печная утварь, собранная еще старой хозяйкой. Ухват на длинном черенке. Два чугуна, большой и средний, оба целые. Сковорода, чугунная, широкая, в палец толщиной, ржавая по краю, но живая, отчистить да прокалить с салом, и будет как новая. Деревянная лопата хлебы сажать. Помело на палке. И кочерга, тяжелая, кованая, с загнутым клювом, такой не золу мешать, а от медведя отбиваться.

Я вытаскивала это богатство на свет и чуть не приплясывала. Вот что значит хозяйка была. Утварь к печи собирается годами и стоит денег, а мне досталась даром, только руки приложи. Я и приложила, снесла все к ручью и отдраила песком до серого чугунного блеска. Кочергу поставила у печи, под правую руку.

Хорошая вещь кочерга. Основательная. Пусть стоит.

Первый огонь я разводила, честно скажу, с замиранием

сердца. Уложила под сухую лучину шалашиком, подсунула бересты. Чиркнула кресалом. Береста занялась, огонек побежал по лучине, дым качнулся, задумался на секунду, куда ему податься, и ровной струей ушел в трубу.

Тянет.

Я сидела перед устьем на корточках и смотрела на огонь, как в театре. Печь оживала. Десять лет она простояла холодным камнем, и вот по ней снова шло тепло, сначала робкое, у самого устья, потом дальше, глубже. Кладка потрескивала, обживаясь. Кузьма явился на звук, сунул морду к теплу, чихнул от остатков сажи и уселся рядом. Морда у него была такая, будто это лично он все устроил.

— Ну вот, — сказала я тихо, непонятно кому, то ли печи, то ли себе. — Теперь заживем.

А под полом Тима ждала находка. У дальней стены, под сгнившими досками, открылась ямка, обложенная диким камнем, по пояс глубиной, сухая и чистая. Погребок. Старая хозяйка хранила тут, надо думать, молоко да соленья, земля в яме даже сейчас, в летний день, дышала ровным холодом. Я сунула туда руку и обрадовалась, как кладу. Погреб в хозяйстве это молоко, что не киснет, сало, что не горкнет, и припасы, до которых не доберется ни мышь, ни жара.

Тим находку одобрил по-своему. Поцокал, обмерил, выбросил сгнившую крышку и к вечеру сладил новую, ровную дощатую, с утопленным кольцом из гнutoго гвоздя, чтобы за него поднимать. Пол вокруг перестелил так, что не знаешь,

где искать, не найдешь.

— Справная яма, — сказал он. — Крынку ставь, к вечеру ледяная будет.

К полудню печь прогрелась, и я рискнула. Задвинула в устье чугунок с кашей, на этот раз пшенной, с салом. И пока Тим перестилал пол, каша томила в печи, как ей и положено, в ровном духу, без суеты костра.

Обедали мы в доме, за столом. Стол, старый, тяжелый, остался тут от прежних времен вместе с дубовой лавкой, я его еще в первый день отскребла песком добела, только ножку пришлось подбить. Разница между кашей из печи и кашей с костра вышла такая, что хоть плачь. Это два разных блюда, и объяснить это словами нельзя, можно только ложкой. Тим за обедом умял две миски, крикнул, покосился на чугунок и умял третью. Лепешки с крапивой пошли следом, только треск стоял.

— Ну как? — спросила я. — Стоил обед медяка?

— Стоил, — веско сказал Тим и больше за весь обед не произнес ни слова. Зато после обеда работал так, что доски у него сами в паз ложились.

Пол у дальней стены он перестелил к вечеру, плотно, доска к доске, и даже порожек у темнушки поправил, хотя я не просила. Ставни сколотил тут же, во дворе, из своей доски, крепкие, в палец толщиной, с засовчиками изнутри, как зазывала. Навесил, проверил ход. Теперь на ночь дом закрывался весь, дверь на засов, окна на ставни.

Вечером, расплачиваясь за день, я отсчитала уговоренные медяки и добавила еще один сверху.

— За порожек. Я его не заказывала.

Тим посмотрел на медяк, на меня, убрал деньги и кивнул.

— Не любишь в долгу ходить. Дело хорошее.

И ушел, толкая перед собой пустую тачку. Я проводила его взглядом и отметила про себя, что в этой деревне мне пока попадаются правильные люди. Везение это или закономерность, покажет время.

За курами я убрала уже в сумерках, подсыпала зерна на утро, проверила частокол. У калитки постояла, послушала лес. Лес молчал. И на том спасибо.

А утром меня ждали два события, и оба, как это водится, явились без предупреждения.

Первое обнаружилось в бочке, в сене под жердочкой. Яйцо. Одно, небольшое, чуть вытянутое, в рыжую крапинку. Еще теплое.

Я взяла его в ладонь и постояла так, наверное, с минуту. Смешно сказать, за всю жизнь через мои руки прошли тысячи яиц, а такого я не держала ни разу. Это было первое яйцо моего собственного хозяйства. Не купленное, не выданное, не полученное по талонам. Мое

— Ряба, — сказала я с чувством, потому что по спокойной морде отличницы было ясно, чья это работа. — Объявляю благодарность с занесением. Сирена, равняйся на товарища.

Сирена скандально квокнула с жердочки. Заносить благо-

дарности в ее планы пока не входило.

Яйцо я определила в миску на видное место, как переходящее знамя. На завтрак его пустить рука не поднялась.

А второе событие явилось ко двору ближе к полудню, пешком, и было оно куда менее приятным.

Фароны пожаловали парой. Гризельда шагала впереди, уперев руки в бока еще на подходе, парадный платок сбился от быстрой ходьбы. Петрум плелся следом и держался от нее на полкорпуса сзади, а от моей калитки на расстоянии, которое я про себя определила как радиус сковороды. Пальцы на его правой руке были примотаны тряпицей. Живало, стало быть, плохо.

Я как раз развешивала у навеса вчерашнюю крапиву. Тим стучал топором на крыше, укладывал дранку.

— Племяннушка! — Голос у Гризельды был сладкий, как патока, в которую уронили осу. — А мы проведать! Всей ведь душой болеем, как ты тут одна!

— Здравствуйте и до свидания, — сказала я, не прекращая развешивать крапиву. — Болеть за меня не надо, я привита.

Хотя здесь они наверное и не знают, что такое прививки. Гризельда сладость с лица убрала, как тряпкой стерла. Взгляд ее тем временем работал, как счеты. Прошелся по новой дранке на скате, по сложенной клетки досок, по мастеру на крыше. Кур за частоколом ей от калитки видно не было, а вот стройку было видно всякому, кто шел мимо.

— Ты гляди какая! — Она уперла палец в крышу. — Дом отстраивает. Мастера наняла! Знать, не с пустыми руками к нам приехала, а прибеднялась, сиротой прикидывалась! Дом-то наш, материн! Деньги, выходит, водятся, вот и плати за проживание! Половину, как родне положено!

Я повесила последний пучок, вытерла руки о фартук и пошла к калитке. Не спеша.

— Значит так, родня, — сказала я ровно, голосом, которым в приемном покое объясняла буйным гражданам порядок прохождения осмотра. — Дом этот, старый гнилой сарай, единственное, что мне досталось от матери. Потому что все остальное, что после нее оставалось, вы, надо понимать, прибрали себе.

— Чего?! — Гризельда аж задохнулась. — Да ничего у нее не было! Голь перекатная! Всю жизнь на нашей шее сидела!

— Вот и договорились. — Я кивнула. — Ничего не было, стало быть, и делить нечего. Мое наследство вот оно, сарай да бурьян, других капиталов не завещано. А что я в этот сарай своим горбом и своими медяками вложу, то мое и есть, вашей доли тут нет и не будет.

— Как не будет? — Гризельду понесло по второму кругу, но уже без прежнего напора. — Доля семейная с дома! Дом-то матери Петрума!

— Доля? — Я взяла с навеса пучок крапивы и протянула через калитку. — Вот ваша доля. Все богатство этого дома во дворе растет, забирайте половину бурьяна, не жалко. А

явитесь еще раз за данью, пойду к старосте. Расскажу при людях, как родня с сироты последнее трясет. Вместе посмеемся.

Пучок крапивы Гризельда не взяла. Она набрала воздуха, и следующие минуты две над пустырем несло все, что она думает про меня, про мою неблагодарность и про мою гнилую кровь. Петрум уже тянул ее за рукав прочь, когда она обернулась и выдала на прощание главное.

— Ишь, вольная выискалась! Незамужней девке одной жить не положено, срам это и позор на всю родню! Ничего-о! Мы тебя по закону в хорошие руки продадим!.. Тьфу! Отдадим!

— Не хворайте! — крикнула я вслед и помахала пучком крапивы.

Парочка скрылась за бурьяном. Тим на крыше застучал снова, и стук у него был какой-то развеселый.

— Ловко ты их, — сказал он сверху и вернулся к дранке.

Смеяться вместе с ним мне, правда, не хотелось. Ор Гризельды я пропустила мимо ушей почти весь, кроме самого последнего. Продадим. Тьфу, отдадим. Оговорочка вышла у тетки знатная, из тех, что дороже целой исповеди. Такое не орут сгоряча, такое проговаривается, когда уже обдуманно, прикинуто и почти решено. Кому продадим, за сколько и по какому такому закону, я не знала. Но нутро тихонько заныло, как к перемене погоды. Я убрала теткину оговорку в память, в ящичек с пометкой «неприятности», и велела себе

за ним приглядывать.

К вечеру я поняла, что представление у калитки обошлось мне дешевле, чем могло бы, а вот ремонт по-честному стоил денег. За доску, дранку и два дня работы с забором вышло так, что одна из моих серебряных монет уходила Тиму целиком, и это еще по-божески, материал он считал едва не в свою цену. Обед двойной я ему тоже честно готовила, и завтра предстояло готовить.

После расчета в мешочке осталось две серебряные монеты, которые я поклялась не трогать до самой крайности, и горстка медяков. Совсем небольшая горстка. Муки оставалось на доньшке, соль подходила к концу, про сало и говорить нечего, Тим со своим двойным обедом подъедал запасы честно и основательно.

Я сидела у теплой печи, гладила ладонью ее нагретый бок и считала. Печь работала. Пол не проваливался. Ставни закрывались. Забор завтра встанет. Яйцо, первое, лежало в миске на видном месте. Хозяйство на ноги становилось, тут спору не было.

Но кормить его было уже почти не на что.

— Завтра на рынок, — сказала я Кузьме, который грел пузо у печи с видом человека, решившего все свои жизненные вопросы. — За мукой. С последними, между прочим, медяками. И если ты знаешь способ, как в этой деревне честной женщине заработать, самое время сказать.

Кузьма способа не знал. Или знал, но помалкивал.

Тим явился спозаранку, с тачкой, груженной жердями, и сразу пошел к лесной стороне, разбирать гнилые пролеты. Работа у него спорилась, вопросов он не задавал, и я с чистой совестью засобиралась в деревню. День сегодня был особенный, базарный. Про это мне еще вчера напомнила Зося, когда забирала свои лепешки. Раз в неделю к лавке съезжались торговцы с окрестных деревень, с мельницы везли муку, с хуторов сало и шерсть, и цены в базарный день стояли не лавочные, божеские.

А мне на базар было надо позарез. Мука кончалась, соль кончалась, сало Тим доедал с чистой совестью работающего человека. В мешочке у меня после расчетов болталась горстка медяков, и растянуть ее следовало по-умному.

— Кузьма, остаешься за старшего, — распорядилась я. — Тим на заборе, ты на курах. Несушек беречь как зеницу ока.

Кузьма зевнул и улегся на крыльце мордой к загону. Службу он понимал по-своему, лежа, но с курами у него после гляделок держался вооруженный нейтралитет, так что за тыл я была спокойна.

Базар расположился на площади перед лавкой, если это можно было назвать площадью, просто утоптаный пятачок, где сходились три улицы. Возы стояли рядком, торговцы разложились кто на телегах, кто на дощатых столах. Народу

толклось порядочно, вся деревня и еще половина соседней, гомон стоял правильный, базарный.

А вот возов было, как я поняла из разговоров, меньше обычного. Куда ни встань, всюду говорили об одном.

— С мельницы-то один воз пришел, а обещали три...

— Побоялись через лес. Ономясь купца обчистили на тракте, самого чуть живого отпустили...

— Четвертый обоз за лето, люди говорят. И хоть бы кого поймали...

— А чего его ловить, лес-то вон он. Свистнул и ушел...

Я ходила вдоль возов, слушала и мотала на ус. Сам собой вспомнился ночной вой, складный, на два голоса, который аукался, а не выл. Может, совпадение, лес большой, зверья в нем хватает. А может, и не зверье это вовсе перекликалось. Утверждать не возьмусь, свечку не держала, да и не мое это дело, на то староста есть и власти. Но соседство в любом случае выходило так себе, и засов с кочергой в моем хозяйстве оказались не лишними. Ладно. Мое дело маленькое, мое дело мука.

Муку я взяла у парня, молодого, веснушчатого, и сторговалась с ним быстро, он в базарном деле был еще щенок против меня. Соль взяла у лавочника, тот при виде меня заранее вздохнул и взвесил честно, без мешочка, наука впрок пошла. Сало выбрала у хуторской тетки, с прожилочкой, розовое, понюхала, помяла, тетка смотрела на мои манипуляции с подозрением.

У воза с птицей и яйцами обнаружилась тетя Улита собственной персоной. Углядела меня издали и поманила сухим пальцем.

— Ну что, ученая? Несутся кормилицы или зря я тебе своих красавиц отдала?

— Несутся, тетя Улита. Первое яйцо вчера взяла, в крапинку.

— В крапинку это Пеструха. — Бабка приосанилась так, будто снеслась лично. — Моя школа. Ты гляди, обеих хвали, а то которая обидится, месяц яйца не увидишь. Птица она обидчивая, хуже свекрови.

Был в рядах и коробейник с тканями, ситец, полотно, все городское, привозное. Я пощупала полотно, беленое, плотное, и застряла у этого воза всерьез.

По уму, идти мне следовало дальше. Медяки мои такую покупку не тянули, а серебро я себе поклялась не трогать до самой крайности. Только вот стояла я, мяла в пальцах полотно и понимала, что крайность, она уже наступила, просто тихо, без объявления. Спала я на голом сене, укрывалась плащом, из белья на мне было одно платье прислуги. А впереди осень, за ней зима. Постель и смена белья это не барство. Это здоровье, любой медик подтвердит, а медик тут был один, я и есть.

Я разменяла у коробейника серебряную монету и взяла с запасом, как привыкла брать на отделение. Ткани плотной на матрас и подушки. Полотна беленого на наволочки, на про-

стыню и на нательное белье, шить я умела, иголки с нитками в хозяйстве уже имелись. Ситца немаркого на смену, рубаху сшить да юбку простую. Коробейник отмерял и поглядывал на меня с растущим уважением, торговалась я за каждый локоть, но брала много.

Сдача с серебрушки вышла жиденькая, и в неприкосновенном запасе у меня оставалась теперь одна монета. Я велела себе об этом не думать. Вложения в здоровье окупаются, это вам тоже любой медик скажет.

После всех трат в кошельке у меня остался ровно один медяк, сиротливый остаток от всей сдачи. Я покатила его в пальцах и решила гульнуть. В конце ряда заезжий торговец продавал пирожки сладкие, и пахли они на всю площадь так, что живот у меня подводило еще от лавки. Один медяк один пирожок. Имею право, в конце концов. Первый базар в новой жизни, обмыть полагается.

До пирожков я дойти не успела.

У крайнего воза взорвалось. Крик, грохот перевернутой корзины, чей-то визг. Толпа качнулась туда, и я вместе с ней, сработала старая привычка, где кричат, там может быть нужна помощь.

Помощь была нужна, только не та, что я думала.

Торговец пирожками, мордатый, в засаленном фартуке, держал за ухо мальчишку. Держал крепко, с вывертом, и свободной рукой отвешивал ему затрещины, размеренно, как молотилка, приговаривая на каждый замах.

— Будешь. Знать. Как. Воровать. Щенок.

Мальчишка не кричал. Вот что было страшнее всего, он молчал, только дергался всем телом на каждом ударе и никак не мог вырваться, ухо держали крепко. Лет десять ему было, может, одиннадцать. Тощий, аж ребра сквозь драную рубашу пересчитать можно, чернявый, стриженный когда-то давно и неровно, будто овечьими ножницами.

Толпа стояла кругом и смотрела. Не вмешивался никто. Бабы качали головами, мужики посмеивались, кто-то от лотков крикнул, дай ему еще, чтоб запомнил.

— Вор, — сказала тетка рядом со мной, не мне, а так, в пространство. — Пирожок стянул. Который день тут крутится, попрошайничает. Так ему и надо, ворюге.

Может быть. Может, и надо. Только била эта молотилка в засаленном фартуке уже не за пирожок. Пирожок, вон он, валялся в пыли, раздавленный. Била она для публики, с оттяжкой, со вкусом, и останавливаться не собиралась, а у мальчишки уже плыла из носа кровь, и голова моталась, как у тряпичной куклы.

За сорок лет в приемном покое я насмотрелась, чем заканчивается такое воспитание. И на детей насмотрелась, которых привозили после таких вот уроков.

Я вошла в круг.

— Хватит.

Сказала я негромко. Кричать я не умею, вернее, умею, но не люблю, крик это признак беспомощности. У меня для та-

ких случаев с годами выработался другой голос, ровный, тяжелый, каким объявляют буйному отделению отбой. От этого голоса трезвели алкоголики и садились на место дебоширы. Сработал он и тут. Молотилка застыла с поднятой рукой.

— Чего? — Торговец уставился на меня. — А ты еще кто такая? Он у меня пирожок...

— Пирожок, — согласилась я. — Вон он, в пыли. Медяк ему цена в базарный день. Держи.

Я подошла и положила свой медяк, последний, единственный, на его лоток. Не швырнула, положила, аккуратно, с достоинством, как расплачиваются в приличном заведении.

— Уплачено. Претензии есть?

Торговец смотрел то на медяк, то на меня. Публика вокруг притихла, представление повернуло куда-то не туда, и ей стало еще интереснее.

— А за науку? — нашелся он наконец. — Ворюгу поучить...

— За науку отдельное спасибо. — Я посмотрела ему в переносицу, есть такая точка, от взгляда в которую людям делается неуютно. — Только наука у тебя, любезный, казенная выходит. За такую науку в городе к лекарю водят и протокол пишут. Ребенку лет десять, а ты его башкой об воз. Ухо отпусти. Быстро.

Не знаю, что подействовало, слово «протокол», которого он наверняка не знал, или тон, которым оно было сказано. Ухо он отпустил.

Мальчишка не убежал. Вот это меня удивило, любой другой рванул бы так, что пятки засверкали. А этот отскочил на два шага, за край воза, и остался стоять, шмыгая разбитым носом. И смотрел он не на меня и не на торговца.

Он смотрел на пирожки.

— Дай ему один, — сказала я торговцу. — Уплачено.

— Так тот, в пыли...

— Тот в пыли твоими стараниями. Медяк на лотке, пирожок в руки. Или мне посчитать вслух, сколько ты сегодня наторговал, пока народ на твое представление смотрел, а не на товар?

Публика хохотнула. Торговец побагровел, но пирожок с лотка взял и сунул мальчишке, не глядя. Тот схватил, дернулся и исчез между возами так быстро, что я моргнуть не успела.

— Спасибо, — сказала я ему вслед, вернее, тому месту, где он только что стоял, — говорить будем учиться потом видимо.

Толпа расходилась, обсуждая. Тетка, та самая, что говорила про ворюгу, поглядела на меня искоса и поджала губы. Кто-то за спиной уважительно сказал, это, мол, та самая, с отшиба, которая Фаронов крапивой. Обрастала я, стало быть, репутацией, слух за слухом.

Я подобрала свои покупки и пошла было к дороге. И тут заметила.

Мальчишка не убежал с базара. Мелькнул раз у крайнего

воза, другой раз за углом лавки. Двигался он в сторону задов, туда, где за лавкой тянулись старые сараи и дровяники. И пирожок он не ел.

Вот это было неправильно. Я такое видала, и не раз. Голодный ребенок, у которого в руках оказалась еда, ест ее сразу, давясь, на ходу, потому что еду могут отнять. Всегда. Без исключений.

Голодный, который не ест, это голодный, который несет еду кому-то. Кому-то, кто ждет и кто еще голоднее.

Ноги сами повернули за ним. Покупки оттягивали руки, дома ждали куры и Тим со своим забором, и вообще не мое это было дело. Я шла и перечисляла себе все причины, по которым надо развернуться и идти домой. Причин было много. Сердце не слушало ни одной.

За сараями, в закутке между дровяником и чьим-то глухим забором, на куче старого сена сидела девочка.

Лет шести, может, семи, по такой худобе не разберешь. Светлые волосы, свалявшиеся, как войлок. Платьишко, которое было когда-то то ли синим, то ли серым. Она сидела, обхватив коленки, и смотрела, как мальчишка, присев перед ней на корточки, разламывает пирожок.

Половину он вложил ей в руки. Вторую половину завернул в тряпицу и спрятал за пазуху. Про запас. Себе он не оставил ничего.

Девочка ела не так, как едят дети. Без жадности, мелкими кусочками, и после каждого замирала, глядя на брата, будто

спрашивала разрешения продолжать. А он сидел перед ней на корточках, шмыгал разбитым носом и следил, чтобы она доела все.

Я стояла за углом дровяника и смотрела на это дольше, чем следовало.

Потом вышла к ним.

Мальчишку подбросило, как на пружине. Он оказался между мной и девочкой раньше, чем я сделала второй шаг, худой, встрепанный, с разбитым носом, руки растопырил, как воробей крылья. Драться он со мной не смог бы, это понимали мы оба. Но стоял.

— Тихо, — сказала я и остановилась. — Я не за пирожком. Он ваш, уплачено.

Он молчал и смотрел исподлобья. Глаза у него были не детские. Возраст в глазах, я такое видала у мужиков после войны на старых фотографиях, и у детей из неблагополучных, которых привозили к нам по десять раз на году.

— Звать тебя как?

Пауза. Он прикидывал, я прямо видела, как за глазами щелкают счеты. Опасна или нет, чего хочу, что ему за это будет.

— Тишка, — сказал он наконец.

— А сестру?

— А тебе чего? — Он подобрался. — Не сестра она мне.

— Ага, — согласилась я. — Чужая. Поэтому ты ей пирожок отдал, и уши за нее подставляешь. Чужим всегда так.

Тишка насупился. Логика была против него, но сдаваться он не привык.

— Лилька, — буркнул он. — Только ты с ней не говори. Немая она. Не скажет ничего.

Девочка смотрела на меня поверх его плеча. Глаза у нее были большие, серые, и вот они как раз были детские, только очень усталые. Недоеденную половинку пирожка она незаметно, одним движением, спрятала под тряпье. Про запас. У этих детей все было про запас.

— Родители где?

— Мамка в городе. — Отлетело у него, как заученное. — Богатая она у нас. За нами скоро приедет, вот прямо на днях. Мы тут это. Временно.

Врал он складно, без запинки, глядя в глаза. Хорошая школа, долгая. Я не стала ловить его на вранье, незачем. И так все было видно, по цыпкам на руках, по тряпью, по тому, как девочка прятала еду. Временно у них затянулось давно и всерьез.

— Понятно, — сказала я. — Временно. Ночуете где, временные? Тут?

— Где придется. — Он дернул плечом. — Тебе-то что? Ты чего пришла вообще? Медяк свой отработать? Так мы не просили.

Вот оно. Не просили. Гордый, колючий, битый. Милостыню такой не возьмет, а возьмет, так возненавидит и тебя, и себя. Таких надо было брать иначе, и я знала как.

— Медяк не про вас, — сказала я ровно. — Медяк это мои счета с торговцем. Не люблю, когда взрослый мужик руки распускает на того, кто вдвое меньше. А пришла я по делу. Работник мне нужен.

Тишка моргнул.

— Чего?

— Того. Хозяйство у меня на отшибе, дом, куры, огород будет. Одна не управляюсь, рук не хватает. Мне нужен работник. Мелкий сойдет, если не лентяй. Плата харчи два раза в день, угол под крышей и медяк в неделю, когда дела пойдут, сейчас без денег. Сестра при тебе, ей тоже угол найдется, по хозяйству помогать станет, куры вон, зелень перебирать. Не милостыня, работа. Спину гнуть придется.

Я говорила скучным голосом, каким говорят про мешки и дрова. Никакой жалости, ни грамма, жалость бы он учуял, как собака страх, и ошетинился бы. А тут выходил разговор двух деловых людей.

Тишка молчал. Он смотрел на меня, и за его взрослыми глазами шел спор, я почти слышала его. Ловушка или нет. Взрослым верить нельзя, это он знал твердо, проверено. Но за его спиной сидела Лилька, у которой из еды была половинка пирожка под тряпьем, а впереди была осень, а за ней зима.

— Врешь, — сказал он наконец. Хрипло. — Взрослые всегда врут.

— Бывает, — не стала спорить я. — Проверь. Дом мой

на отшибе у леса, крайний, вся деревня знает. Дойди да посмотри, спроси кого хочешь. Понравится, оставайся. Не понравится, уйдешь, дверь в обе стороны открывается. Я тебя за руку не тяну, мне работник нужен, а не пленный.

Я развернулась и пошла, не оглядываясь. Это тоже было правильно. Уговаривать нельзя, ждать у него над душой нельзя, решение он должен был принять сам, иначе оно ничего не стоило.

Уже за дровяником, у поворота, я все-таки не удержалась и глянула назад, вполглаза, через плечо.

Тишка стоял на том же месте и смотрел мне вслед. А Лилька, поднявшись со своего тряпья, держала его за рукав и тянула. Молча. В мою сторону.

Домой я возвращалась с полными руками и с занятой головой.

Покупки оттягивали плечи, а думалось мне всю дорогу про одно. Придут или не придут. По уму выходило, что скорее нет. Мальчишка был пуганый, стреляный, взрослым не верил ни на грош, и правильно, между прочим, делал, взрослые его пока ничему хорошему не научили. Я себя одергивала. Сказала свое слово, и будет. За руку не потащишь, силком добро не делается.

А сердце все равно прикидывало, хватит ли каши на троих.

Тим к моему приходу заканчивал забор. Два новых пролета светлели свежими жердями среди старых, серых, как заплата на кожухе. Работа была сделана на совесть, жердь к жерди, я подергала, даже не скрипнуло.

— Принимай, хозяйка, — сказал Тим и стал собирать инструмент.

Мы обошли хозяйство вдвоем, по всем правилам приемки. Пол не скрипел и не гулял. Ставни ходили ровно, засовчики щелкали. Крыша светлела новой дранкой, и в доме, впервые за все мои ночевки, не тянуло ниоткуда. За три дня моя развалюха перестала быть развалюхой. Дом как дом, крепкий, ладный, живи да радуйся.

— Спасибо, Тим. Работа золотая.

— Угу. — Он вскинул скатку на плечо, взялся за тачку и уже от калитки обернулся. — Печь помалу топи, не забывай. И это. Обеды у тебя вкусные, сытные. Понадоблюсь, зови.

Я проводила его до поворота взглядом и вернулась к хозяйству. Куры были в порядке, Кузьма нес службу лежа, все шло своим чередом.

Покупки я разобрала по местам. Мука и соль отправились в темнушку, на балку, сало подвесила в погребок. Ткани я разложила на столе и не удержалась, прикинула раскрой. Выходило на добрый матрас и две подушки, полотна на две смежные белья, а если кроить с умом, то и на третью, маленькую. Про маленькую я подумала мельком, сердце защемило, а руки сами прикинули, и я не стала разбираться чего это оно. Сердце, оно иногда умнее головы.

Обедать я собралась поздно, ближе к двум, по солнцу прикидывая. И готовила я, честно признаюсь, с расчетом.

Каши я поставила полный чугунок, на четверых едоков, хотя нас в хозяйстве числилось полтора, я да кот. Лепешек замесила десяток, половину с крапивой. И все это я делала во дворе, у летнего костра, хотя печь стояла протопленная и можно было в доме. Потому что запах. Запах каши с салом и горячих лепешек костер разносил по всей округе, до самого леса, и был этот запах моим главным аргументом в переговорах, которые, я чуяла, еще не закончились.

Чуяла я правильно.

Первым гостей заметил Кузьма. Он вдруг перестал умыться, сел столбиком и уставился в бурьян за калиткой, туда, где некошенная половина стояла стеной. Уши у него ходили, как локаторы. Потом в ту же сторону покосилась Сирена и что-то неодобрительно квокнула.

Я не повернула головы. Помешала кашу, перевернула лепешку, отогнала от чугунок кота. Бурьян у калитки стоял тихо, ни одна метелка не шевелилась. Сидели там давно, я так поняла. Может, час, может, больше. Смотрели, считали, проверяли. Один дом, одна тетка, один кот. Засада или нет.

Я сняла с камней последнюю лепешку, разогнулась и сказала в сторону бурьяна.

— Обед готов. Работники, они по расписанию едят, а расписание у меня простое, горячее два раза в день. Остынет, разогревать не стану.

Бурьян молчал. Потом зашуршал.

Тишка вышел первым, как и положено, разведчиком. Шел он боком, по кромке двора, взглядом стриг по сторонам, отмечая, я видела, каждую мелочь. Где калитка, где эта тетка и что у нее в руках. В руках у меня была деревянная лопатка, и он на всякий случай оценил ее тоже.

Лиля шла за ним, вцепившись в его рукав, шаг в шаг, как пришитая.

— Мы поглядеть, — сообщил Тишка с порога двора. Голос он держал независимый. — Наниматься не решили еще. Поглядим сперва, что за хозяйство.

— Дело, — согласилась я. — Хозяйство глядят с ложкой в руке, так лучше видно. Руки сполосните, вода в ведре у крыльца.

К ведру Тишка шел, как ревизор по цеху. По дороге он успел осмотреть загон, пересчитать кур, обнаружить Кузьму и обменяться с ним долгим оценивающим взглядом, два кота встретились, не иначе. У ведра, отфыркиваясь, он приступил к допросу.

— А мужик в хозяйстве где? Ну, хозяин.

— Нет мужика. Одна живу.

— Одна. — Тишка сощурился, и я опять услышала, как щелкают его счеты. — А забор кто ставил? А крыша смотрю новая?

— Работник ставил, за плату. Тим с нижнего конца. Разминулись вы с ним на полчаса.

— Знаю Тима, — важно кивнул Тишка. — Косой который. Мы про тебя спрашивали, между прочим. На деревне.

— И что говорят?

— Говорят, ты Фаронов крапивой гоняла. — В его голосе впервые проскользнуло что-то, похожее на уважение. — И что кузнец с тобой, как с ровней. И что городская, а торгуешься, как наши бабки не умеют.

— Все врут, — сказала я ровно. — Крапивой не гоняла. Крапивой я им долю выдала, это разное. Садись за стол, ревизор, каша стынет.

Обедали за столом, в доме. Я нарочно накрыла в доме, не

во дворе, пусть посмотрят, что тут крыша не течет и стены стоят. Мисок в хозяйстве было две, обе ушли гостям, полные с горкой, а себе я положила каши в кружку и ела стоя, у печи. Список покупок в моей голове тем временем пополнился еще на две миски и две ложки.

Смотреть, как они ели, было тяжело. Я на своем веку повидала всякого, но такое забыть не дается. Тишка ел быстро, по-волчьи, пригнув голову и левой рукой прикрывая миску сбоку, сам, наверное, не замечал, что прикрывает. Лиля ела мелко и часто, как птица, и после каждой третьей ложки взглядывала на брата. Оба давились, обжигались и не оставались.

Я в их сторону старалась не смотреть. Подкладывала молча, когда миска пустела, и все. Разговоры за таким обедом были лишние.

Доев, Тишка отодвинул миску, вытер рот и перешел к делу. Видно было, что речь он готовил заранее, может, еще в бурьяне.

— Условия обговорить надо, — солидно начал он. — Ты вчера говорила, медяк в неделю. Когда первый?

— Когда дела пойдут, тогда и первый. Сейчас в хозяйстве денег нет, врать не стану. Пока плата такая, харчи два раза в день, угол теплый и одежда к холодам. Вон ситец лежит, и плотно есть. Сошью.

— Одежда. — Тишка пожевал губу, прикидывая. — Лиле сперва. Ей платье надо, у ней совсем худое.

— Лильке платье, тебе рубаху, обоим по очереди, — согласилась я. — Еще условия?

Тишка подумал. Поскреб затылок, покосился на сестру.

— Уходить захотим, держать не будешь. И вещи наши не тронешь.

— Дверь в обе стороны, я говорила. Вещи ваши мне без надобности, своих хватает. Все?

— Все. — Он помолчал и добавил, глядя в стол. — Работать я умею. Ты не думай. Я и воду, и дрова, и за скотиной ходил. Это я просто. Уточнить.

— Верю, — сказала я. — Вот после обеда и начнем.

А потом Лиля сделала то, от чего у меня внутри все перевернулось.

Доела, аккуратно собрала со стола крошки в ладошку, отправила в рот. А корку от лепешки, последнюю, недоеденную, зажала в кулачке. Кулачок опустился под стол и больше не показывался. Сидела она прямо, смотрела перед собой, и только костяшки на опущенной руке побелели.

Я встала, взяла с горки целую лепешку, завернула в чистую тряпицу и положила перед ней на стол.

— Это твое. Про запас. Носи с собой, куда хочешь клади, никто не тронет. А завтра покажу, где у нас хлебный ларь, будешь при нем заведующей.

Лиля посмотрела на сверток. На меня. Опять на сверток. Потом медленно, одной рукой, притянула его к себе и прижала к животу, вместе с коркой. Тишка сидел и смотрел на

все это, и челюсть у него ходила, будто он что-то дожевывал, хотя жевать было уже нечего.

Слово «у нас» я уронила как бы между делом. Никто его не подхватил, но и не возразил никто.

После обеда я объявила осмотр.

— Работника принимаю, осмотр положен. Порядок такой. Нос покажи.

— Чего его казать. — Тишка попятился. — Нос как нос.

— Нос как нос набок не смотрит. Сядь.

Нос оказался цел, разбит, распух, но кость на месте. Ухо, за которое его таскали, горело и припухло по краю. Ссадины, цыпки, короста на локте. Я развела в теплой воде ромашку из своей тряпицы, промыла ему нос и ссадины, на локоть налепила размятый лист подорожника и примотала чистой тряпочкой. Тишка шипел, дергался, косился на дверь, но сидел. Досидел до конца, встал и одернул рубаху так, будто это он мне сделал одолжение.

Лилю я осматривать не стала. Вымыла ей руки с ромашкой, смазала цыпки топленным салом. Девочка далась молча, только пальцы у нее в моих ладонях сначала были деревянные, а к концу отошли, потеплели. Пока я возилась, за спиной у нас звякнула о чугунок ложка, Тишка добирал остатки. Лилия обернулась на звук раньше меня.

Я отметила это про себя и промолчала.

Дальше был рабочий день. Работник нанялся, работа стояла и ждала, вторая половина двора как раз ждала с бурья-

ном до пояса.

— Смотрите и запоминайте, — сказала я, выведя обоих на некошеную половину. — Трава траве рознь. Одна кормит, другая лечит, третья только место занимает. Кто разбирается, тот с голоду не пропадет нигде. Начнем с главного. Вот это крапива, и это наша кормилица номер два, после кур.

Учеба пошла с ходу, на руках. Крапиву рвать через тряпку, верхушки в одну кучу, на еду, стебли в другую, вязать и сушить, зимой и в суп пойдет, и курам в мешанку. Лебеду показала, листья молодые в тесто. Ромашку, ту, что у крыльца, мелкую, пахучую, велела собирать отдельно и бережно, это аптека. Полынь показала, серебристую, горькую, от моли и от блох. У пижмы остановила обоих.

— Эту желтую не трогать. Красивая, а ядовитая. В дом пучок от мух можно, в еду никогда, курам никогда. Запомнили?

Тишка кивнул и тут же пересказал все своими словами, коротко и точно, как рапорт. Голова у парня работала дай бог каждому. Работал он зло, быстро, охапки таскал больше себя и все поглядывал, вижу ли я, сколько он натаскал. Я видела и молчала. Похвалишь такого раньше времени, решит, что норму можно сбавить.

А вот Лиля меня удивила.

Она ходила по бурьяну медленно, смотрела под ноги и вдруг присела. Потом встала и подошла ко мне, держа что-то в горсти. В горсти лежала ромашка, та самая, мелкая, аптеч-

ная, с десяток головок, одна к одной, ни одной пустой или осыпавшейся.

— Правильно, — сказала я, принимая. — Она самая. Глаз у тебя, Лиля, алмаз.

Лиля постояла, посмотрела на меня снизу вверх. И пошла обратно в бурьян, и через время принесла еще горсть, и опять ни одной ошибки. Так и повелось до вечера, Тишка валил и таскал, Лиля выбирала и сортировала, и пучки у нее выходили ровные, будто она всю жизнь только этим и занималась.

Вязать и вешать я учила уже обоих. Комлем вверх, головками вниз, под навес, в тень, на сквозняк. На солнце нельзя, выгорит трава, вся сила из нее уйдет.

Сама я тем временем села у крыльца за шитье. Тик у меня был куплен ровно под это дело, и кроила я его, как привыкла, с газетки, то есть без газетки, но по старой памяти, руки помнили. Два чехла под матрасы, на печь детям и на лавку себе, и два поменьше, под подушки.

С набивкой вопрос решился сам, во дворе. За домом, вдоль лесной стороны, стояла прошлогодняя трава, высокая, высохшая на корню, ломкая и звонкая, ее и косить не надо было, руками бралась. Тишка перетаскал ее к крыльцу гору. Сверху я велела добавить сегодняшней, что с утра вялилась на солнце и к вечеру дошла до сенного духа. В подушки, подумав, положила по горсти ромашки и полыни, ромашку для сна, полынь от всякой мелкой живности, старый способ, де-

шевле не бывает.

К сумеркам один матрас был набит, взбит и водружен на печь. Толстый, тугой, он занял всю лежанку, и Кузьма опробовал его первым, не спросив разрешения. Второй чехол лежал скроенный, на завтра.

Ужинали уже в потемках, по-простому, лепешками с горячим кипятком из чайника, я заварила в нем сушеный лист малины. Дети клевали носами прямо за столом. День у них вышел длинный, а сытый день выматывает отвыкшего человека почище голодного, это я по себе знала.

— Спать, — скомандовала я. — Лиля на печь, там матрас новый, обновишь. Тишка, ты куда определишься?

— Я тут. — Он кивнул на пол у двери. — Привычнее мне. У двери. У выхода. Я спорить не стала, кинула ему охапку сухой травы потолще и свой плащ сверху.

Лилия забралась на печь, повозилась, устраиваясь, и затихла. Сверток с лепешкой и корка уехали наверх вместе с ней. Кузьма потоптался, выбирая между мной и печью, и ушел наверх, к Лиле. Кот, он всегда знает, кому нужнее.

Я задула лучину и легла на свою лавку, на сено, застеленное новым полотном. Дом затихал. Куры завозились в загоне и смолкли. Тишка у двери долго лежал без звука, и дыхание у него было осторожное, не сонное. Потом усталость взяла свое.

А я лежала и смотрела в потолок.

Двое детей спали в моем доме, чужих. Своих у меня ни-

когда не было и быть не могло. Семьдесят девятый год, роды сутки с лишним, малыш родился мертвым. Потом чистка, потом заключение, сухим казенным языком, детей иметь не сможете. Мне было двадцать шесть. Мужа после этого хватило на два года.

Ну, что уж теперь. Я повернулась на бок. Завтра надо было варить каши больше, дошить второй матрас, показать Лиле хлебный ларь. Едоков в хозяйстве стало четверо, а серебряшка осталась одна, и с этим тоже надо было что-то решать.

Проснулась я среди ночи, сама не знаю от чего. Угли в печи дотлели, в доме стояла темень, только от окна, из щели между ставней, лежала на полу серая полоска лунного света.

В этой полоске, у самой двери, стоял Тишка.

Одетый. С моей дорожной сумкой в руках.

Мы смотрели друг на друга через темную комнату, и никто из нас не сказал ни слова.

Дорогие читатели, дайте обратной связи в комментариях, чтобы я понимала, что роман стоит писать и его не два человека читает. Мурр

Мы стояли и смотрели друг на друга. Он у двери, с моей сумкой в руках. Я на лавке, приподнявшись на локте.

Кричать было нельзя. Хватать, стыдить, выговаривать тоже нельзя, все это я знала твердо. Крикни я сейчас, и через минуту в этом доме станет на два человека меньше.

Я села, спустила ноги на пол и сказала обычным голосом, каким спрашивают, который час.

— Уходить надумал, дело хозяйское. Лепешки на столе, возьми половину, ночью в лесу голодно. Только сестру разбуди. Одна она тут не останется, уговор был, вы вдвоем.

Тишка стоял, не шевелясь.

— Я не ухожу, — сказал он наконец. Хрипло, в пол.

— А что тогда?

Он молчал долго. Пальцы на сумке сжимались и разжимались.

— Проверял. — Слово вышло у него через силу, как гвоздь из сухой доски. — Что у тебя там. Взрослые, они поразному. Одна тетка тоже добрая была, кормила. А потом пришли какие-то, и Сеньку с Малым увели. Больше их не видели. Я с тех пор всегда проверяю. Веревки там, бумаги, кандалы какие.

Вот оно что. Я встала, подошла к двери. Тишка подобрался, но с места не двинулся. Я взялась за засов и отвела его в

сторону, железо лязгнуло в ночной тишине громко, как выстрел. Потянула дверь, и она открылась в темень, в стрекот ночного луга, в холодок.

— Смотри сюда. Засов один, вот он, изнутри. Твоей рукой открывается, моей, чьей угодно. Снаружи замка нет. Понял, о чем я?

Тишка смотрел на распахнутую дверь. На засов. Опять на дверь. Ночь стояла за порогом, большая, черная, вся его, бери и уходи.

— Понял, — сказал он.

— Вот и хорошо. Дует, закрывай.

Я вернулась на лавку и легла лицом к стене. За спиной было тихо, потом дверь мягко стукнула, лязгнул засов, зашуршала сумка, возвращаясь на место, к стене. Потом прошуршало сено у порога.

Про эту ночь мы оба больше не сказали ни слова. Никогда.

Утром я поднялась первой, с рассветом, по привычке. Дети спали. Лиля на печи, свернувшись вокруг кота, Тишка у двери, лицом к комнате.

Я тихо, стараясь не скрипеть, перешагнула через спящего у порога Тишку, отодвинула засов и вышла на улицу. Двор стоял в росе, от луга тянуло свежим, куры в загоне уже топтались и поглядывали на меня с намеком. Я сыпанула им зерна, проверила воду в плошке, заглянула в бочку. Пусто пока, ну, до вечера время есть, девочки.

Дальше по хозяйству, как заведено. Развела костер, поста-

вила воду, замесила на лепешки. Печь я решила протопить попозже и посерьезнее, у меня на нее были сегодня отдельные планы.

Дети проснулись сами. Сначала в дверях возник Тишка, взъерошенный, с отпечатком травяного стебля на щеке, за ним выплыла Лиля, со свертком под мышкой и котом следом.

— Подъем, работники, — сказала я. — Умываться, вода в ведре у крыльца. Кто чистый, тот завтракает.

Тишка у ведра фыркал и озирался. Ждал он, судя по глазам, чего угодно. Разговора. Попрека. Может, что вещи его уже за порогом. Я гремела у костра и в его сторону не смотрела.

Тут и Зося подошла со своей крынкой. Вошла во двор, увидела у ведра две детские макушки и встала, как воткнутая.

— Это чего это у тебя?

— Работники, — сказала я. — Тишка и Лиля. Наняла вчера. Тишка, прими молоко у тети Зоси, спусти в подпол. Дощечку у дальней стены видишь, с колечком? Под ней погребок.

Тишка подошел и принял крынку, серьезный. Зося отдала машинально и проводила его взглядом до самого ручья.

— Это ж те, базарные, — понизила она голос. — Побитые которые. Ты никак умом тронулась, девка. Они ж обнесут тебя до нитки и в лес уйдут, у них это заведено.

— Обнесут, значит, мое горе. — Я сняла с камней первые лепешки, две завернула ей в лопух, как уговорено. — Пока что они мне полдвора бурьяна убрали и травы насушили. Держи лепешки.

Зося взяла сверток, пожевала губами, глянула еще раз на Тишку, на Лилю у ведра. Любопытство в ней боролось с осуждением, и любопытство, как всегда у Зоси, побеждало.

— Кормишь-то их чем? Самой поди есть нечего.

— Чем себя, тем и их. Каша, лепешки, зелень. С голоду пока никто не упал.

— Ну-ну. — Она помялась и выдала главное, ради чего, похоже, и стояла до сих пор. — Ты это. Гризельда твоя опять языком метет. По деревне ходит, всем рассказывает, мол, племянница умом тронулась, деньги невесть чьи проматывает. Мол, недолго ей куролесить осталось, найдется управа.

— Пусть метет. — Я перевернула лепешку. — Язык без костей, метла без прутьев. Спасибо, что сказала, Зося.

Зося ушла, оглядываясь. К обеду, я так прикинула, о моих работниках будет знать вся деревня, к вечеру обе соседние. Ну и пусть. Тайком такие дела все равно не делаются. А вот теткино «найдется управа», уже второе по счету, я отложила все в тот же ящичек с пометкой «неприятности». Ящичек понемногу тяжелел.

Завтракали в доме, за столом. Доели вчерашние лепешки с горячим чаем на малиновом листе, детям я налила по кружке Зосинога молока, по полной. Тишка свою выпил в

три глотка и сидел потом, слизывая с губы белый след и косясь на крынку. Я долила ему еще полкружки и Лиле долила, для ровного счета. Молоко детям это святое, тут и обсуждать нечего, кости у обоих просвечивали, как у цыплят.

Свежие лепешки, утренние, я в ларь убрала, и убирала не сама.

— Лиля. Хлебный ларь теперь твое заведение, помнишь уговор? Принимай хозяйство. Твое дело смотреть, чтобы хлеб был убран и крышка закрыта, а то вдруг мыши. Хотя наш Кузьма не пропустит.

Ларь стоял в темнушке, старый, дубовый, с тяжелой крышкой, я его отмыла еще при разборе. Лилия подошла. Потрогала крышку. Подняла ее двумя руками, с усилием, уложила внутрь сверток с лепешками, ровно, по-хозяйски. Постояла, глядя внутрь. Потом опустила крышку, аккуратно, без стука, и разгладила ее ладошкой сверху.

Свой сверток, вчерашний, она в ларь не положила. Он так и был у нее за пазухой, и я сделала вид, что так и должно быть.

А в загоне меня ждала новость. В бочке, на сене, лежало два яйца. Два. Сирена, стало быть, догнала передовика производства.

— Девочки, объявляю благодарность обеим, — сказала я курам. — С занесением. Сирена, поздравляю, равнение на товарища дало результат.

Сирена приняла поздравление громко, с переливами, на

всю округу. Скромность в число ее достоинств по-прежнему не входила.

За завтраком я распределила день.

— Тишка, на тебе дрова. Зима, она вон за тем лесом стоит и ждать не будет. Валежник таскай вдоль опушки, вон туда, к стенке. Только уговор железный. В лес не заходить. Совсем. Работаешь по кромке, где я тебя от крыльца вижу. Дальше первых деревьев ни ногой.

— А чего там? — тут же сощурился Тишка. — В лесу-то?

— А ничего хорошего. Слыхал, как ночами воет? Вот и весь сказ. По кромке валежника на три зимы наберешь, а в лес ни ногой, или уговор, или врозь.

— Понял, не дурак, — буркнул он, но по глазам было видно, запомнил накрепко. Про вой он слышал.

— Лиля, ты со мной и при травах. Сегодня собираем на чай, покажу что.

Вышли вдоль пролеска, по кромке луга, все втроем, я показывала, дети запоминали. Кипрей я нашла первым, он стоял по опушке розовыми свечками, его ни с чем не спутаешь.

— Вот это иван-чай. Главная наша заварка на всю зиму. Лист брать вот так, сверху вниз, горстью, стебель не ломать, он еще нарастит. Высушим, будет чай не хуже покупного.

Дальше пошло по порядку. Лист малины и лист земляники, эти от простуды первое дело, зимой с ними и хворь не страшна. Душица, розовая, душистая, для сна и для спокойствия, ее в подушку тоже хорошо. Мята у ручья, эту рвать

щедро, она от того только гуще кустится. Зверобой с желтыми звездочками я показала отдельно и велела брать по чуть-чуть.

— Этот от девяноста девяти хворей, так старые люди говорят. Желудок, простуда, когда тоска заедает, тоже он. Но трава сильная, ее в чай по щепотке, а не горстями. Запомнили? Лиля, повтори... — Я осеклась. — Лиля, покажи, какую по чуть-чуть.

Лиля обвела глазами луг, подошла и тронула пальцем желтую звездочку зверобоя. Точно.

— Правильно. Работаем.

У ручья я показала щавель, кислые стрелки, эти прямо в рот можно и в похлебку, лучшая кислинка, пока нет капусты. Тишка попробовал, сморщился и тут же нарвал полную горсть. Лопух я показала у тропинки, здоровенный, ушастый. Лист лопуха к ушибу или к нарыву первое средство, а корень, если выкопать по осени да запечь, еда, и еда сытная, в голодный год лопух деревни спасал. Тишка на слово «еда» посмотрел на лопух с новым уважением.

По дороге назад я показала еще, что попало. Тысячелистник, белые шапочки на жестком стебле, этот кровь останавливает, к порезу лист размять и приложить, в хозяйстве вещь первая. Таволгу у ручья, пышную, медовую, ее в чай при жаре и когда голова болит. Чабрец на сухом пригорке, ползучий, пахучий, от кашля зимой незаменим. И шиповник у пролеска я заметила, целый куст, ягоды еще зеленые.

А на обратном пути Тишка сам показал сестре клевер. Присел у розовой шапки, выдернул из нее трубочку и сунул в рот.

— Гляди, Лилька. Кашка. Ее сосать надо, там сладко. Мы с пацанами в Замостье всегда... — Он осекся на полуслове, глянул на меня и закончил тише. — Ну, сладко, короче.

Лиля вытянула трубочку, пососала. Глаза у нее округлились, и она немедленно потянула вторую. Так они и сидели вдвоем на корточках над клевером, деловитые, как две пчелы, и я их не торопила. Такие вещи поважнее любого распи- сания.

— Этот куст запоминаем и караулим. К осени ягода покраснеет, соберем и высушим. В шиповнике витамина больше, чем во всей аптеке. Зимой отвар, и никакая цинга не сунется.

И мы заработали. Тишка волочил из-под опушки валежник, сухие сучья, ветровал, целые лесины, крякал, упирался, но тащил, и куча у стены дома росла на глазах. Раз он при- волок лесину в два своих роста и стоял возле нее, дыша, как загнанный конек, и я уже открыла рот сказать, чтоб не рвал пуп, и закрыла. Сам сообразит, не дурак. Сообразил, следу- ющие таскал по разуму.

Лиля ходила по лугу со своей торбочкой, медленно, глядя под ноги, и носила мне траву горстями, и в каждой горсти было ровно то, что заказано, лист к листу, ни одной ошиб- ки. Кипрей к кипрею, малина к малине, душица отдельно,

увязана травинкой, как ленточкой. Я к полудню поняла, что могу ее не проверять. Глаз у ребенка был аптекарский.

После полудня Лиля принесла мне очередную горсть, и в горсти этой была ягода. Земляника, мелкая, лесная, темно-красная, с десятков ягодок, она нашла полянку у пророска. Себе она, судя по перепачканному подбородку, тоже перепало, и брату, я видела, она снесла первому.

— Клад нашла, — похвалила я. — Ягоду тоже запоминаем, где растет. Земляника это и вкус, и польза, ее и в чай сушат, лист мы уже брали, а ягода детям первое лакомство и первое лекарство. Ешь, заведующая, заработала.

Один раз я оглянулась на луг и застала картину. Лиля стояла посреди травы, замерев, с протянутой рукой, а на руке у нее сидела бабочка, большая, рыжая с черным. Девочка не шевелилась и смотрела на нее во все глаза, и торбочка висела забытая. Бабочка посидела, повела крыльями и снялась, и Лиля провожала ее взглядом, задрав голову, до самой опушки. Потом спохватилась, оглянулась на меня, я успела уткнуться в свое шитье, и заработала дальше, как ни в чем не бывало.

Шесть лет человеку. Успеть бы вернуть ей детства за эти шесть лет, хоть частями.

Развешивали добычу вместе, под навесом, в тени. Я показала раз, как вязать пучок и как цеплять его комлем вверх, и дальше только подавала. Лиля вешала. Тянулась на цыпочках, сопела, но вешала сама, и ряд у нее выходил ровный,

пучок к пучку, загляденье, а не ряд.

С кипреем я отдельно повозилась и детей приобщила. Лист иван-чая, если его просто высушить, дает заварку так себе, сено сеном. А вот если каждый лист покатаь в ладонях, помять, чтобы потемнел и пустил сок, а потом дать ему полежать в тепле под тряпицей и уже тогда досушить, заварка выходит темная, густая, с медовым духом, не всякий купеческий чай так может. Этому меня тоже тетя Манана научила. Мы сели втроем на крыльце и катали листья, ладонь о ладонь, и Лиля скоро приноровилась лучше меня, пальцы у нее были ловкие, аптекарские, а Тишка пыхтел, у него листья рвались.

— Ты не дави, ты катай, — показала я. — Как хлебный шарик. Вот так.

Мокрицу с грядки у забора я велела детям носить курам, по горсти в день, и объяснила, за что курам такой почет. Зелень для несущки первое дело, от нее и яйцо крупнее, и желток ярче. Лиля отнесла горсть, просунула сквозь частокол и присела смотреть, как Ряба с Сиреной наперегонки ее расхватывают. Просидела, между прочим, четверть часа, и куры под ее взглядом чувствовали себя, судя по всему, как артистки при полном зале.

Сама я села на крыльце за шитье. Платье Лильке я скроила еще вчера, сегодня сшивала, и параллельно раскроила из полотна две ночные рубахи, простые, длинные, до колен. План у меня на вечер был обширный, банный, и чистое к

нему полагалось приготовить заранее.

К полудню платье дошло до примерки. Я позвала Лилию с луга, поставила на крыльцо и надела на нее обновку через голову, прямо поверх старого. Ситец был немаркий, темно синий, я такой нарочно выбирала, и на беленькой Лиле он сел, как влитой, я только по подолу наметила, где подшить.

Лилия стояла смиренно, руки в стороны, как велено. Потом опустила глаза и стала смотреть на себя. Одну руку она отвела назад и нашарила за спиной Тишкин рукав, брат как раз подошел поглядеть. Дернула. Тишка посмотрел на сестру в новом платье, шмыгнул носом и выдал.

— Ну. Справное. Носи давай.

По Лилиному лицу прошло что-то быстрое, как солнечный зайчик. Тень будущей улыбки.

— К вечеру подошью, завтра наденешь, — сказала я и стянула платье обратно через голову, пока в нем не убежали на луг. — А теперь оба работать, до обеда еще час.

Час до обеда прошел мирно. Я дошивала подол, дети работали, двор жил своим гулом, куриным, травяным, рабочим.

К обеду у меня поспевала каша и грелись камни под лепешки. Яйца, оба утренних, пошли в дело, я порубила их с молодой крапивой и заворачивала начинку в тесто, а дети крутились рядом, и я заодно вела политинформацию.

— Крапива, чтоб вы знали, первая зелень от весенней хвори. Бывает такая болезнь, когда человек всю зиму ест один хлеб да кашу. Десны кровить начинают, зубы шатаются, ноги

пухнут, раны не заживают. Цинга называется. А кто зелень ест, крапиву, лук, ягоду, у того ее не бывает никогда. В зелени сила такая живет, витамин называется, слово городское, но вы запомните. Зубы целы, значит, витамин был. Поняли, работники?

— Поняли, — сказал Тишка и на всякий случай потрогал языком свои зубы. Зубы у него, кстати сказать, для улицы были на удивление целые, а вот десны при осмотре мне вчера не понравились, бледные, рыхловатые. Ничего. Крапива, зелень, молоко, к осени выправим. Лиля слушала мою лекцию так же, как слушала все, молча и внимательно, а потом взяла из кучки крапивный листок, покрутила и осторожно, вопросительно потянула в рот.

— Сырую не надо, обожжёшься, — остановила я. — Ее сперва обварить или обмять. Вареная она добрая, сама увидишь за обедом.

Лепешки шипели на камнях, каша булькала, запах шел столбом, и вот на этот запах из пролеска и вышли двое.

Я увидела их раньше, чем услышала, двигались они тихо для таких здоровых. Двое мужиков, рослых, в одинаковых серых куртках с нашивками, у каждого на поясе тесак, за плечом у одного арбалет. Шли они от леса, наискось через луг, прямо к моему двору.

Внутри у меня екнуло. Разговоры с базара, вой по ночам, обозы на тракте, все это пронеслось разом, и рука сама прикинула, сколько шагов до кочерги у печи. Далеко. Я, не по-

ворачивая головы, нашла глазами детей. Тишка уже стоял у крыльца, и Лиля уже была у него за спиной, среагировали они на чужих быстрее меня, наука улицы. У Тишки в руке, я заметила, оказался топор, взял с колоды, не поднимая, просто взял и держал у ноги.

Бежать было поздно, прятаться глупо, да и шли эти двое в открытую, не таясь, а лихие люди, как я понимаю, по чужим дворам средь бела дня в открытую не ходят. Я вытерла руки о фартук, взяла с камней деревянную лопатку, просто чтобы руки были заняты, и выпрямила спину. Испуг испугом, а показывать его последнее дело, это правило одинаково работает что с дебоширами, что с начальством, что с чужими вооруженными мужиками.

— Доброго дня, хозяйка! — крикнул передний еще от забора и поднял пустую ладонь. — Ты не пугайся, мы с дозора. Дозволишь подойти?

Вблизи они оказались моложе, чем виделись с луга. Двое парней, лет по двадцать пять, обветренные, пропыленные, и голодные, это я определила с одного взгляда, по тому, как оба старались не смотреть на лепешки и все равно смотрели.

— Дозор, значит, — сказала я ровно. — Чей будете?

— Отряда Высшего лорда, хозяйка. — Передний, светлый, с выгоревшими бровями, ткнул себя в нашивку на груди. — Ланс я, а это Отто. Лагерем стоим за лесом. Земли тут все лордовы, вот и ходим, смотрим. А у тебя, хозяйка, печево такое, что мы его за версту учуяли и с маршрута сбились. Продай лепешек, а? Мы с медяками.

Отто, темный и молчаливый, в подтверждение потряс ко-

шелем на поясе.

Высший лорд. Я мешала кашу, а в голове у меня щелкнуло и сложилось. Лорд, которому принадлежат эти земли. Тот, за которого сватали Элеонору, пока не грянул скандал. Женишок, стало быть, бывший, заочный, где-то тут, за лесом, лагерем стоит. Тесен мир, ничего не скажешь. Вслух я, понятно, не сказала ничего, а сказала другое.

— Медяки приберегите, служивые. А вот сила ваша мне сгодится. Видите, работник у меня валежник таскает? — Я кивнула на Тишку, который у крыльца старательно делал вид, что он тут страшная охрана. — Работник у меня боевой, но мелкий. Поможете час с дровами, накормлю от пуза и с собой заверну. По рукам?

Парни переглянулись. Ланс расплылся.

— Хозяйка, да за твой запах мы тебе весь лес перетаскаем. Отто, ты слышал? От пуза.

Что такое от пуза, я поняла через час, когда пересчитала, сколько теста ушло. А что такое солдатская сила, я поняла еще раньше.

Валежник, который Тишка волок по одной лесине, эти двое таскали охапками, как хворост. Отто присмотрел у опушки сухостоину в мою ногу толщиной, примерился, ухнул, и она легла с четырех ударов. Еще десяток ударов, и от нее остались чурбаки, ровные, один к одному. Колол он играючи, с одного маха, чурбак только кричал и разлетался на двое, и Тишка, который таскал за ним поленья, смотрел на

это снизу вверх, как на явление природы.

— Не так держишь, брат. — Ланс отобрал у Тишки топор, которым тот сунулся было помогать. — Гляди. Руки вот сюда и сюда, замах от плеча, и пускай топор сам падает, у него веса на двоих хватит. Ты только направляй. Понял? Ну, держай. Да ноги, ноги расставь, кто ж так стоит.

Тишка под его командой расколол свой первый чурбак с третьего удара, второй с двух, и уши у него при этом горели таким гордым огнем, что хоть прикуривай. Ланс тем временем разобрал всю вчерашнюю кучу, переколол и сложил у стены в поленницу, ровную, как по линейке, солдатскую. За час у моей стены выросло дров столько, сколько я одна заготавливала бы до самых холодов.

Я смотрела на это и качала головой. Вот что значит казенное довольствие и строевая подготовка. И вот что значит правильно вложенный обед.

Обедали во дворе, у костра, мисок на всех не хватало, так что служивым я выдала лепешки с начинкой прямо в руки, стопкой, и каши в кружках. Ели они так, что любо-дорого. Ланс на первой лепешке замолчал на полуслове, посмотрел на нее, надкушенную, с каким-то даже недоверием, и дальше уже только работал челюстями и мычал одобрительно.

— Хозяйка, — сказал он, добравшись до третьей. — А чего это в ней такое, зелененькое?

— Крапива с яйцом.

— Крапива. — Он покрутил головой. — Нас в лагере ка-

шей давят, каша утром, каша вечером, я ее скоро сам ржать начну. А тут крапива. Отто, ты понял? Мы с тобой год не той травой питаемся.

Отто прогудел что-то согласное, не отрываясь от кружки. Кузьма сидел напротив гостей и смотрел на них с осуждением, гости ели его законную долю. Под конец Отто сжалился и выделил ему кусочек со своей лепешки, и осуждение сменилось на милость. Тишка сидел поодаль, но с каждой минутой все ближе, и глаз не сводил с арбалета, который Ланс аккуратно пристроил у забора. Ланс это заметил.

— Что, брат, игрушка нравится? — Он подозвал Тишку пальцем. — Гляди, только руками не хватай, она заряженная дури не прощает. Вот скоба, вот лежа...

Пока они гудели над арбалетом, Отто, оказавшийся не таким уж молчуном при каше, выкладывал мне новости. Лагерь стоит третью неделю, за лесом, у старой просеки. На тракте шалют, обозы пропадают, купцы воют, вот нас и пригнали разбираться.

— А командует кто? — спросила я, подкладывая ему лепешку.

— Сам лорд, лично. — Отто сказал это с таким выражением, с каким говорят о начальстве, которое одновременно уважают и от которого держатся подальше. — Дозоры гоняет, подметки дымятся. Вчера всю просеку лично облетел, до самого тракта.

— Облетел?

— Ну. — Отто глянул на меня, как на дитя малое. — Дракон же. Высший. Ты чего, хозяйка, лордов-драконов не видала никогда?

— Бог миловал, — сказала я чистую правду.

— Ну и не жалей. — Он захрустел лепешкой. — Зрелище, конечно, знатное, когда он над лесом идет, тень на полверсты. Только под этой тенью служить, я тебе скажу, занятие на любителя. У командира глаз такой, что он с высоты видит, у кого сапог не чищен.

Тишка при слове «дракон» забыл про арбалет и развернулся всем корпусом, глаза у него стали по медяку. Ланс хмыкнул и щелкнул его по макушке.

— Что, брат, дракона поглядеть охота? Все вы одинаковые. Ты лучше моли своих богов, чтоб он к вам сюда не заглядывал. Где командир, там смотр, где смотр, там наряды вне очереди.

— А воет-то кто по ночам? — спросила я как бы между делом. — Слыхали, поди. На два голоса, складно так.

Парни переглянулись, и в этом перегляде было больше ответа, чем в словах.

— Зверье, хозяйка, — сказал Ланс, слишком легко. — Лес большой. Ты на ночь запирайся, и вся недолга. Забор у тебя справный, засов есть?

— Есть.

— Ну и ладно. — Он поднялся, отряхнулся и вдруг посерьезнел. — Ты вот что, хозяйка. Мы тут ходим через день,

дозором, наш это маршрут теперь. Ты пеки, не прогадаешь. У нас в лагере от каши казенной уже скулы сводит, а лепешек твоих я сейчас взял бы полсотни, и разлетелись бы. Ребята с жалованьем, платить есть чем. Подумай.

Я завернула им с собой по свертку, как обещала, и проводжала до калитки уже с полной головой арифметики.

Арифметика выходила такая. Лепешка простая, мука да вода, обходится мне в сущие гроши, а с начинкой, с крапивой и яйцом, чуть дороже, но крапива дармовая, а яйца свои и будут прибывать. Продавать по медяку за пару, для солдата с жалованьем цена смешная, а для меня двадцать пар это десять медяков в день. Десять медяков в день это, простите, заработок, за который в деревне спину гнут от зари до зари. А если отряд большой, а он большой, раз лагерь третью неделю стоит, то и полсотни лепешек разойдутся, Ланс врать не станет, вон как сверток к груди прижал.

Муки, правда, надо будет брать уже мешком. И сыворотки или молока для теста. И противень бы в печь, на камнях много не напечешь. Список покупок в моей голове разросся до второй страницы, но впервые за все эти дни он меня не пугал, потому что напротив списка появилась цифра прихода.

Я неделю ломала голову, где взять источник, а источник сам вышел из леса, на запах, в казенных сапогах.

— Спасибо за дрова, служивые. Заходите с дозором, накормлю.

— Не сомневайся, хозяйка! — Ланс уже от пролеска обернулся и махнул. — Мы теперь этот маршрут никому не отдадим!

После такого обеда посуды набралось порядочно, и мыть ее вызвался Тишка. Сам, без напоминания, сгреб миски и кружки стопкой и потопал к ручью. Я проводила его взглядом, отметила про себя, что работник у меня входит во вкус, и села к своему шитью.

Вернулся он нескоро. И еще от калитки я увидела, что идет он не так. Медленно, нога за ногу, и руки держит перед собой горстью. Он подошел, остановился в шаге и протянул мне ладони. На ладонях лежали черепки. Все, что осталось от глиняной миски.

— На камнях выскользнула, — сказал он ровно.

И встал. Я это движение уже видела и второй раз узнала сразу. Плечи вверх, голова в плечи, разворот боком, левым, локоть пошел кверху, прикрывая ухо. Он мог убежать от ручья в лес, мог закинуть черепки в воду и сказать, что миску унесло. Он пришел сам, принес их в руках и теперь стоял и ждал. Молча, привычно, по-заученному.

Ждал удара.

У меня внутри стало холодно и очень тихо. Я отложила шитье и забрала черепки с его ладоней.

— Глиняная, — сказала я. — Глиняные быются, на то они и глиняные. За миску в этом доме не быют. И за доску не быют, и за крынку. Тут вообще не быют, заруби себе и сестре

передай. Черепки не выбрасывай, в дело пойдут. Истолчешь их завтра в крошку, подмешаем в глину. Битый черепок для гончара добро, с ним посуда в обжиге не трескается, лучше песка работает. Тишка посмотрел на меня, на черепки, опять на меня.

— Бить не будешь, — сказал он. Уже без вопроса, утверждением, будто записывал в свои счета новое правило и проговаривал его вслух, для верности.

— Не буду. А вот работы тебе за миску добавлю, это по-честному. Пойдешь сейчас к ручью и поищешь мне глину. Хорошую, жирную. Знаешь, как проверить?

— Чего ее проверять. — Он шмыгнул носом, приходя в себя. — Глина и глина.

— Э, нет. Глина глине рознь. Смотри и запоминай, наука дармовая. Берешь комок, разминаешь в пальцах и катаешь колбаску, тонкую, с палец. Потом сворачиваешь ее в колечко. Если гнется и не трескается, глина жирная, годная, из такой посуду лепят. Если рвется и сыплется, тощая, ее только на замазку. Ищи по берегу, где ручей бережок подрезал, там она обычно и лежит, пластом, серая или рыжая.

Купить новые миски мне было попросту не на что, медяков после базара не осталось ни одного, и ждать их было неоткуда до первой солдатской выручки. Зато у меня была река глины под боком, печь, которая через день-другой дозреет до большого жара, и полный дом рабочих рук. По молодости, в деревне, я у соседа-гончара насмотрелась на это

ремесло вдоволь, а что подзабыла, то руки вспомнят.

Тишка вернулся через полчаса, перемазанный по локоть и торжествующий, с комом серой глины в руках. Колечко из колбаски мы скатали и свернули вместе, у него на ладони. Колечко согнулось и не треснуло.

— Годная, — вынесла я вердикт. — Завтра накопаешь побольше, замесим с песком и сядем лепить. Песок в глину класть обязательно, запоминай почему. Чистая жирная глина в печи трескается, жар ее рвет. А песок ее разрыхляет, и посудина выходит цельная. Лепить будем толсто, не спеша, потом сушить в тени дней пять, тоже не спеша, глина спешки не прощает. А уж потом обжиг, в печи, на самом большом жару. И последняя хитрость, самая главная. Горячую, прямо из печи, посудину обмакивают в молоко и прогревают снова. Молоко запечатывает все поры, и миска перестает пить воду, хоть щи в нее наливай. Молочение называется. Дед-гончар говорил, посуда после него сто лет живет.

— А если треснет? — деловито спросил Тишка.

— Значит, слепим с запасом. Что выживет, то и посуда. Гончары, чтоб ты знал, так и работают.

Глину мы уложили в старый черепок, залили водой и накрыли мокрой тряпицей, отмокать до завтра. В хозяйстве прибавилось еще одно дело, и дело это, я видела по Тишкиным глазам, ему уже нравилось.

А потом я взялась за главное, что задумала на этот день. За баню.

Баня, конечно, слово громкое. Бани у меня не было, была печь, теплый день и твердое намерение. По молодости, в деревне, я банное дело знала со всех сторон, сама топила, сама парила, но тут приходилось выкручиваться тем, что есть. Ничего. Было бы горячей воды вдоволь, а остальное приложится.

Печь я протопила еще раз, по-малому, третий день пошел ее просушке, и она уже держала жар ровно и подолгу. Воду грела во всем, что было, в чугунах, в чайнике, в ведре у огня. Посуды не хватало отчаянно, лохань бы сюда, корыто бы, но лохани не было, и список покупок в моей голове пополнился еще на строчку. Мылись, как в походе, из одного ведра, зато вода была горячая, а на дворе тепло.

Мыло у меня имелось одно, замковое, тот кусок, что я прихватила при сборах и берегла всю дорогу. Сегодня был как раз тот случай, ради которого берегут. Детям мыло, решила я, а на стирку пойдет щелок. Золы от печи уже накопилось вдоволь, а зола плюс вода это и есть щелок, чем деревня испокон веку стирается. Я с вечера еще замочила золу в горшке, теперь слила светлый настой, развела, попробовала на руке. Мылился он честно, для стирки за глаза.

— Запоминайте, работники, наука дармовая, — сказала я, разливая настой по посудинам. — Зола да вода, сутки постоит, и стирай что хочешь. Только зола нужна древесная, чистая, от доброго полена. Березовая лучше всех. И руки после щелока водой ополаскивать, он кожу сушит, а у нас с ва-

ми руки рабочие, их беречь надо.

Лилию я мыла сама.

Устроились мы за домом, на солнечной стороне, где трава и куда вода уходит в землю без следа. Я расстелила мешковину, поставила Лилию на нее, а рядом ведро с теплой водой, кружку и мыло. Поливала из кружки, намыливала, оттирала, шею, уши, острые лопатки, каждое ребрышко наперечет. Волосы у нее сваялись за дорогу в сплошной войлок, и первым делом я прошла по ним частым гребнем над светлой тряпичей, по всем правилам санобработки. Бродячая жизнь без непрошенных квартирантов не обходится, это медицина знает твердо, и стесняться тут нечего, лечится же. Потом было мытье, потом ополаскивание крепким полынным отваром, я его настояла загодя, полынь от этой публики средство старое и безотказное, а под конец ромашковая вода, для духу и чтобы кожу не сушило. Отмачивала, вычесывала прядь за прядью, а что не вычесывалось, ровно подрезала ножом. Возилась долго, воду Тишка подтаскивал от печи, ведро за ведром. Лиля стояла на мешковине смирно, обхватив себя за локти, и от нее пахло уже мылом и ромашкой, а не дорогой и тряпьем.

За вычесыванием я и не заметила, как начала напевать. Вполголоса, без слов почти, старое, дачное, что всегда напевала за долгой ручной работой. Спыхватилась я только тогда, когда поняла, что под моими руками стало очень тихо. Лиля сидела, не шевелясь, чуть повернув голову на мой голос, и слушала. Я не стала останавливаться. Довычесывала под то

же мурлыканье, и она так и сидела, повернувшись на голос, до самого конца.

А под конец, когда я поливала ее чистой водой из кружки, сверху, как из дождика, она вдруг зажмурилась и подставила лицо. Просто подставила лицо под теплую воду, зажмурившись, и сидела так, пока вода в кружке не кончилась.

Я налила еще одну. Просто так.

Передо мной стояла другая девочка. Беленькая, светлая, волосы, отмытые и подрезанные, легли и заблестели. Я завернула ее в полотенце, одно из двух замковых, что уехали со мной в сумке и дождались своего часа, вытерла насухо и надела через голову новую ночную рубашу, мной на спех сшитую, длинную, до пят почти, с запасом на вырост. Лиля оглядела себя, тронула рубашу на груди, там, где я, пока кроила, пустила по вороту частую строчку косичкой, для крепости и для красоты. Тронула, провела по строчке пальцем и разгладила ладошкой.

Тишка мыться при мне отказался наотрез, что и требовалось доказать. Получил ведро горячей воды, отрезанный ломтик мыла, кружку полынного отвара с наказом облить голову и посчитать до ста, тряпицу, второе полотенце, вторую рубашу и строгий наказ, уши, шея, голова, все два раза, приду проверю. Был отправлен за дом, на солнечную сторону. Вернулся с мокрой головой, с чистыми ушами, оттертый до розовости и в рубаше до колен, из которой торчали тощие исцарапанные ноги. Вид у него был крайне недовольный. Про-

верку ушей он выдержал, скрипя зубами, и уши оказались чистые, к его собственному, кажется, удивлению.

— Как девка, — сообщил он, дергая подол.

— Как человек, — поправила я. — В ней спать, пока одежда сохнет. Высохнет твое, переоденешься.

Старую их одежонку я перестирала в том же щелоке, отбила у ручья, развесила у костра на жердине. Штопки там было столько, что вечер у костра я провела с иглой. Латала локти и колени, перешивала пуговицы, какие остались, подгибала расползшееся, у Тишкиной рубахи весь ворот держался на честном слове. Лиля пристроилась рядом на приступке и работала при мне подмастерьем, держала, подавала, откусить нитку тоже было ее делом, и делала она это с таким серьезным лицом, что смеяться было нельзя. Одежонка была бедная, но после стирки и штопки стала хоть человеческая.

Между штопкой я закрыла и вчерашний долг, дошила второй матрас, себе на лавку, и набила его той же сухой травой. Следом дошли руки и до подушек. В обе, как задумывала, легло по горсти ромашки и полыни, ромашка для сна, полынь для порядка. Одна подушка отправилась наверх, детям на двоих, вторая легла на лавку. Спать по-человечески полагалось теперь всем в этом доме, без исключений.

Тишка тем временем вышел во двор, я слышала, и долго ходил там в потемках. Вернулся довольный.

— Поленницу проверял, — доложил он. — Стоит. Мы с тем, с Отто который, ее на совесть сложили. Такую за зиму не

сжечь.

— Сожжем, — заверила я. — Зима длинная. Но начало у нас с тобой богатое, это да.

Дети к вечеру ходили сонные, распаренные, чистые до скрипа. За ужином, лепешками с остатками молока, оба клевали носами, день их умотал, а сытый день выматывает отвыкшего человека почище голодного. Тишка героически боролся, рассказывал мне, зевая на каждом слове, как правильно, по-солдатски, класть поленницу, чтобы стояла и не гнила, снизу прокладка, сверху навес. Лиля уснула сидя, привалившись к его плечу, и он замолчал на полуслове и дальше сидел, не шевелясь, чтобы не разбудить, только глазами показал мне на сестру, мол, видала, что делается. Кузьма обнюхал вымытую Лилю с большим подозрением, чихнул на ромашковый дух, но на печь за ней все равно полез.

Пока дети доедали, я сидела у огня и позволила себе пять минут арифметики с мечтами. Если лепешки пойдут, а они пойдут, к осени можно и о козе подумать, вон, Тим говорил, стекло по цене козы, а мне коза нужнее стекла, молоко свое будет, детям. К зиме, глядишь, и на стекла наберется, и на овчины, зима тут, судя по печи, которую прежняя хозяйка сложила, шутить не любит. И муки мешок. И лохань. И миски, четыре штуки, глиняные.

Размечталась, одернула я себя привычно, и привычно же себе ответила. А кто мне запретит. Мечты, если к ним приложить руки, имеют свойство сбываться, это я в этой жизни

уже проверила.

И вот тут я провела главную операцию дня.

— Тишка. — Я кивнула на печь. — Сегодня спишь наверху, с сестрой. Матрас широкий, места двоим за глаза.

— Я у двери. — Он набычился привычно. — Привычнее мне.

— У двери ты до первых холодов страж. Зимой от порога так потянет, что уши отморозишь, какой из тебя тогда караульный. А с печи, чтоб ты знал, весь дом слышно, и дверь, и окна, и двор. Проверь сам, раз ты у нас разведка. И это. Голова у тебя мокрая, на печи высохнет, у двери простынешь, лечи тебя потом.

Тишка постоял, посчитал на своих счетах. Аргумент про слышно и про караул, я видела, попал куда надо.

— Проверю, — сказал он с достоинством. — Плащ тогда тоже наверх давай. Укрываться.

— Бери. На двоих как раз.

Он полез на печь, волоча за собой плащ.

Проверял он оттуда минут десять, замирал, слушал, как ходит по двору ветер. Потом улегся, завозился, устраиваясь на тугом, травяном, пахнущем полынью матрасе, и затих. Кузьма, поразмыслив, перебрался и улегся ровно посередине, между ними, мордой к двери.

Я легла на свою лавку, на новый матрас, на подушку с ромашковым духом, укрывшись куском полотна, плащ мой отныне нес службу на печи. С матрасом это была не лавка, а

перина, хоть медаль себе выдавай. Легла и стала слушать, как дом засыпает. Дом засыпал теперь по-другому. Раньше в нем дышали я да кот, а теперь с печи доносилось двойное сопение, и от этого сопения сам дом будто становился теплее, хотя печь топилась та же и дрова были те же. Странное дело, а проверенное. И уже сквозь дрему, на самой границе сна, услышала.

Шепот. С печи, тихий-тихий, в самое сестрино ухо.

— Спишь? Хорошо тут, тепло, сытно И мытые мы теперь. И рубахи вон, новые. И платье тебе завтра. Вроде не бьет она вообще. Поживем пока.

Пока.

Я лежала лицом к стене, дышала ровно, как спят, и улыбалась в темноте.

Мне для начала хватит.

Платье я дошила утром, до завтрака, пока дети спали. Осталось-то было подрубить подол да пришить завязку у ворота, работа на полчаса при утреннем свете. Я разгладила его ладонями на столе, ровные швы, аккуратный подол. Платье как платье, самое простое. А смотрела я на него, как на именнинный торт.

За завтраком я объявила программу дня.

— Собираемся и идем на рынок. Посуду нашу мы еще когда слепим да обожжем, а есть из чего-то надо уже сегодня. Заодно муки возьмем, соли, сыра, по хозяйству всякого. Лиля. Обновку сегодня и наденешь.

Лиля замерла с ложкой на весу. Посмотрела на меня, на платье, разложенное на лавке, опять на меня. Ложку она донесла мимо рта и даже не заметила.

Одевалась она долго и очень осторожно, каждое движение было аккуратным. Разгладила подол. Потрогала строчку на вороте. Прошлась от печи до двери и обратно, и походка у нее при этом была такая, будто она несла полный стакан и боялась расплескать.

Я смотрела на это и помалкивала. За свою жизнь я перевидала много обновок и много девочек в обновках, но чтобы платье надевали вот так, как надевают чужую драгоценность, мне видеть еще не приходилось. Ситец, самый дешевый на

возу. По деньгам пустяк. А в ее в жизни, я так понимаю, первая вещь, которая для нее сшита, а не с чужого плеча.

Тишка оглядел сестру, обошел кругом, как лошадь на ярмарке, и вынес вердикт.

— Годится. Только ты это. В лужу не сядь, аккуратнее будь.

Сам Тишка щеголял в своем, старом, но стираном и зала-танном, я на совесть отработала иглой каждую прореху. За-платки вышли заметные, зато ровные, посаженные аккурат-но, стежок к стежку. Бедно, но чисто, а это две большие раз-ницы, как говорили у нас в отделении.

Перед выходом я провела смотр. Умыты, причесаны, у Лили волосы прибраны, у Тишки вихры прилизаны водой, надолго ли, вопрос отдельный. Кузьме оставлен приказ по гарнизону, куры пересчитаны, дверь закрыта, ставни при-крыты.

— Ходим вместе, по сторонам глазеем, руками ничего не хватаем, — довела я инструкцию до личного состава. — Тишка, старший по Лиле. Вопросы? Выдвигаемся.

Деревня встретила нас обычным утренним гулом, стуком, скотиной, бабами у колодца. И взглядами. Смотрели на нас, как и раньше, из-за заборов и из окон, только смотрели уже по-другому. Тогда глядели на чудную городскую девку из развалюхи. Теперь глядели на хозяйку с двумя детьми, от-мытыми, причесанными, одетыми в чистое. Лиля шагала ря-дом, держась за мой подол, и то и дело косилась вниз, на свое

платье. Тишка шел чуть позади, по-хозяйски, и бдил.

У Зосиного двора с синими ставнями нас окликнула ребятня, знакомая ватага с пустыря, и вихрастый знаменосец, что нес когда-то Рябу, подошел к Тишке первым, по-мужски, бочком.

— Здоров. Ты, что ль, теперь у нее живешь? У городской?

— Работаю, — солидно поправил Тишка. — При хозяйстве.

— А правда, что к вам солдаты ходят? С арбалетами?

— Было, — уронил Тишка небрежно, но грудь у него сама собой поехала вперед. — Мы с ними дрова заготовливали.

Ватага уважительно загудела, и до площади мы шли уже с почетным сопровождением. А у колодца, где стояли с ведрами Зосины товарки, нас проводили долгим взглядом, и за спиной, вполголоса, но так, что слышно было прекрасно, потому что в деревне вполголоса не умеют, сказали.

— Гляди-ка, придела оборванцев. И платишко новое, сама шила, поди.

— Сама, а то кто ж. Она все сама, и дом подняла, и хозяйство ведет. Ладная девка, рукастая, что ни возьмет, все у ней спорится.

— Городская, а работающая. Повезет же кому-то.

Я шла, не оборачиваясь, и делала вид, что меня это не касается. А у самой, честно скажу, спина сама собой распрямлялась. Слава в деревне зарабатывается медленно, копейка к копейке, и цену ей я знала хорошо.

У кузни, куда я завернула по дороге спросить, не скует ли мне Гаррик лист под выпечку, обнаружился Тим. Сидел на колоде, ждал своего топора из починки. Меня он поприветствовал кивком, детей осмотрел с ног до головы своим прищуром.

— Приоделись, — оценил он.

— Стараемся.

— Она и готовит хорошо— сообщил Тим Гаррику, буд-то продолжая давний разговор. — Я у ней две недели столовался, так у старосты после ее каши есть не смог. Ложка не лезет.

— Да иди ты, — не поверил Гаррик.

— Вот тебе и иди. — Тим пожевал соломинку.

Гаррик посмотрел на меня с новым интересом, лист под выпечку, противень по-нашему, пообещал к той неделе и запросил по-божески. Сговорились на лепешки и медяки, половину так, половину эдак, ударили по рукам. Реклама, как известно, двигатель торговли, а Тим в рекламе оказался талант, кто бы мог подумать при его-то разговорчивости.

На рынке пришлось делать то, чего я надеялась избежать. Разменивать последнюю серебряную монету.

Медяков у меня не осталось ни одного, а список был такой, что медяками бы и не обошлось. Я выложила серебрушку на прилавок и мысленно с ней попрощалась. Неприкосновенный запас на этом заканчивался полностью. Оставались руки, печь, куры и план для заработка.

Брала я по списку, обдуманно, на оборот, а не на проедание.

Муки взяла полмешка, лучшей, какая была, мука теперь мое сырье, а на сырье не экономят. Соли крупной. Специй набрала с запасом, каких нашлось. Тмина кулек, семени укропного, лаврового листа связочку, перца горошком щепоть. Пару мисок деревянных, простых, есть из чего-то надо, пока свои глиняные не поспеют. Ложек еще две. И таз. Жестяной, мятый по одному боку, зато без единой дырки, я его простучала весь. Таз в хозяйстве вещь незаменимая, хоть стирай, хоть тесто на полсотни лепешек затевай, а мне светило именно такое тесто, если солдатская арифметика не врала.

А у съестных возов, среди хуторских, я нашла то, за чем шла отдельной строкой списка. Сырный воз. Тетка при возе, дородная, в белом переднике, торговала кругами белого рассольного сыра, и я устроила товару полную приемку, отломил пробу, помяла, понюхала, лизнула. Сыр был правильный, упругий, в меру соленый, такой в жару потянется, как надо.

Сердце у меня застучало вприпрыжку. Вот оно. Печь просохла и держит большой жар, масло сговорим сегодня же, а теперь и сыр. Все сошлось, все до последнего, чего я ждала с того самого вечера у костра, когда запах теста унес меня через целый мир на дачную летнюю кухню.

— Круг возьму, — сказала я тетке. — И вперед закажу.

Сговоримся, так и по два в неделю брать стану. Понадобится много.

— Много, — уважительно повторила тетка, заворачивая круг в чистую холстину. — Никак запекаешь много, хозяйка?

— Вроде того. Только лучше.

Лавочник, отсчитывая сдачу медью, покосился на детей, смирно стоявших у прилавка, и вдруг выудил из-под прилавка два леденца на палочках, потертых, слипшихся.

— Держите, воробы. За то, что руками ничего не хватаете. Первые дети в лавке, которые ничего не хватают.

Тишка взял свой леденец с достоинством, Лиля с недоверием, и оба посмотрели на меня, можно ли. Я кивнула. Дожили, подумала я. Дети спрашивают разрешения на леденец. Ну ничего.

Поблагодарили от души.

На обратном пути завернули к Зосе, за молоком и за главным разговором.

— Масло мне нужно, Зося. Сливочное. Постоянно, раза два в неделю по кому. Деньги у меня скоро появятся, могу деньгами, могу лепешками вперед.

— Масло. — Зося вытерла руки о передник и посмотрела на меня со значением. — Никак сдобу затеяла? Для солдатиков поди?

— Для них тоже, — не стала я темнить. Все равно вся

деревня узнает через день. — Отряд большой, каша у них казенная, а жалованье живое. Буду печь на продажу.

— Хваткая ты, — с уважением сказала Зося. — Ладно. По четвергам и воскресеньям, сговоримся, чем брать. И вот чего. Сыворотку у мельничихи спроси, она ее свиньям देвает, а тебе за медяк ведро нальет. В тесто, сама знаешь.

Ком масла на почин она вынесла сразу, не дожидаясь четверга, и домой мы возвращались груженные, как обоз. Крынка, масло, сыр, мука, таз, в тазу все остальное. Тишка тащил свою долю, пыхтел, но не сдавался. Хозяйство он теперь считал и своим тоже, а свое, известно, не тянет.

Дома покупки разошлись по местам. Мука в темнушку, на балку, специи на полку рядком, я их перенюхала все по очереди и осталась довольна, тмин был свежий, духовитый. Сыр и масло уехали в погребок, под дощечку с колечком, в холод. Таз я торжественно водрузила на лавку у печи. Служба его начиналась немедленно.

До обеда я закрыла еще один вопрос, который висел на мне с самой бани. Зубной.

Порошка зубного в этом мире не водилось, а зубы у детей были, и терять их я не собиралась. Средство медицина знает сто лет, и оно дармовое. Березовый уголь из печи, истолченный и просеянный через тряпицу в тонкую пыль, к нему растертая сухая мята и щепоть соли. Уголь чистит и тянет на себя дрянь, мята освежает, соль держит десну. Щетки я сделала из ивовых прутьиков, срезала у ручья, один конец рас-

плющила обушком ножа и разбила на мягкую кисточку. Ива дерево нежное, десны не дерет.

— Углем? — Тишка смотрел на черный порошок, как на подвох. — Зубы? Они же черные станут.

— Белые они станут. Уголь смывается, а грязь с собой уносит. Не веришь, проверь. Ты у нас все проверяешь. Против «проверь» он не устоял, я на это и была. Долго потом ловил свое отражение в ведре и разглядывал зубы, и по лицу было видно, что результат его удивил. С того дня ритуал встал в расписание намертво, утром и вечером, у ведра, и Лилю Тишка проверял сам, по-старшински, заглядывая ей в рот, как заправский фельдшер. Лиля порошка на палочку набирала микроскопически, экономила. Я делала вид, что не замечаю. Экономность у этих детей сидела глубже зубов, ее предстояло вымывать годами сытой жизни, а не углем.

После обеда настал час большой глины.

Отмокшая глина стала тяжелой, ровной, без сухих комков. Я отжала лишнюю воду через тряпицу, и мы вывалили ее на старую доску у крыльца. Рядом встало ведро с водой, руки мочить, миска с песком и урок начался.

— Значит, так, работники. Сперва черепки.

Черепки от покойной миски Тишка растолок в ступке, вернее, в чугушке камнем, до крошки, до крупки. Толоч он с чувством, с полной отдачей, я так понимаю, у него с этой миской были свои счета, и он их сводил.

— Битый черепок для гончара добро, — приговаривала я, подсыпая крошку в глину вместе с песком. — Посуда с ним в обжиге не трескается. Так что миска твоя не пропала, она сейчас в четыре новые перейдет. Круговорот посуды в хозяйстве.

Песок мы принесли с ручья, с отмели, чистый, промытый водой. Я отмеряла на глаз, примерно четверть к глине, и еще горсть черепковой крошки, и велела запомнить пропорцию. Месили по очереди, на доске, как тесто, с водой, подливая понемногу. Работа эта только с виду простая, глина сперва упрямилась, липла, расползалась, а потом, как домесили, вдруг стала послушной, плотной, гладкой, хоть к щеке прикладывай.

— Вот теперь она рабочая, — сказала я. — Слышите, как скрипит? Глина, когда готова, поскрипывает под пальцами. Запоминайте на ощупь, словами это не передать.

Я скатала первый ком, размяла лепешкой, подняла борта, огладила мокрыми пальцами. Миска вышла толстая, криво-бокая, но крепкая.

— Красота не главное, — сказала я, ставя ее на доску. — Главное, чтоб стенка была ровная по толщине, без тонких мест. Где тонко, там в обжиге и порвется.

— А чего она у тебя кривая? — тут же отметил Тишка, разглядывая мою первую миску.

— А у нас тут гончарного круга нет, у нас лепка ручная, она вся кривая. Кривая, да своя. Ты сперва свою слепи, потом критикуй, критиковать вся деревня умеет.

Дальше пошло веселее. Тишка лепил, как работал, зло и старательно, язык на сторону, у него выходило крепко, хоть и косили немного.

— Ничего, — утешила я. — Из кривой миски каша не выливается, проверено. Главное, дно ровняй, чтоб не качалась. Вот так, стукни донцем о доску легонько, она сама сядет.

А Лиля меня опять удивила. Я показала ей жгутовый способ, самый простой и самый верный для ручной лепки. Катаешь из глины колбаску, укладываешь ее кольцом на донце, приглаживаешь мокрым пальцем, чтобы шов исчез, сверху следующее кольцо, и так посудина растет, виток за витком, как гнездо у ласточки. Показала один раз.

Больше показывать было нечего. Пальцы у нее были аптекарские, я это уже знала, но тут они развернулись в полную силу. Жгуттики у нее выходили ровные, как из-под машинки, кольца ложились ровно, швы исчезали под пальцем без следа, и посудина росла тонко, ровно, кругло, у меня в ее годы так не вышло бы. Она работала, склонив голову набок, сосредоточенная до кончиков ушей, и на щеке у нее засыхала глиняная полоса, которую она посадила, отводя волосы.

— Гончар растет, — сказала я. — Глядишь, к зиме на базар свою посуду повезем.

К полудню на доске выстроилась вся наша будущая столовая. Шесть мисок, с запасом, четыре кружки, тоже с запасом, горшочек под мед, которого у нас пока не было, но Тишка сказал, что будет, значит, и горшочек нужен. И одна плошка курам, ее Лиля слепила по собственному желанию, с толстыми боками и волнистым краем, для красоты, надо понимать. Слепила и понесла показывать к загону, прямо сырую, на дощечке, торжественно, как награду. Ряба с Сиреной подошли к частоколу, оглядели изделие, одна боком, вторая боком, и одобрительно заохотали. Приемка состоялась. Доску с посудой мы отнесли в темнушку, в самый ровный сухой угол, подальше от сквозняка и солнца.

— Теперь главное, — объявила я. — Пять дней не трогать. Совсем. Глина спешки не прощает, кто торопится, тот черепки получает. Сохнуть должна медленно, в тени, тогда не потрескается. Заведующая, принимай под охрану вместе

с ларем.

Лиля кивнула и в тот же день установила над темнушкой негласный надзор. Кузьму, сунувшегося обнюхать производство, вывели за шкуру, в смысле, оттеснили ладошкой, и он ушел, оскорбленный до кончика хвоста.

Вечером девятого дня, отскребая с доски и с детей остатки производства, я подвела итог. Руки у обоих работников оказались на месте, глина в темнушке сохла, и в хозяйстве заводилось второе ремесло.

Печь, к слову, я в тот вечер протопила уже по-рабочему, без оглядки. Просушка ее кончилась, и кладка держала жар ровно, всем телом, как и положено хорошей печи.

И на этом жару я исполнила то, ради чего покупался сыр, сговаривалось масло и весь день топилась печь.

Дети домывали с локтей глину, а я поставила тесто, мягкое, живое, на молоке и масле, и, пока оно подходило, покрошила и размяла сыр. Потом раскатала лепешки, завернула края лодочкой, защипнула углы, острые, как нос у корабля, и в каждую серединку положила сыра полной горстью, не жалея. «Сыра клади, не бойся. Тесто это лодка, сыр это море». Я и клала, как учили.

Лодочки ушли в печь, на чистый под, и скоро по дому поплыл запах. От него у меня защипало в носу, и я отвернулась к печи, будто проверяю жар.

Перед самой готовностью я выдвинула лодочки, вбила в серединку каждой по яйцу и вернула в жар, на минутку, что-

бы белок схватился, а желток остался живым. Сверху по ку-
сочку масла. И на стол.

Дети онемели. Тишка смотрел на золотой глаз посреди ло-
дочки так, будто ему подали жар-птицу.

— Это чего? — спросил он шепотом.

— Хачапури. Хлеб с сыром, по-заморскому. Есть надо
так, глядите. Ложкой мешаете желток с сыром, по кругу, не
спеша. Потом отламываете край и макаете. Край это весло,
серединка море. Ну, с богом.

Первую минуту за столом было слышно только ложки. По-
том Тишка поднял на меня глаза, и в них стояло выражение
человека, у которого только что перевернулась картина ми-
ра.

— Это ж... — Он не нашел слова и махнул куском теста.
— Это ж лучше сахара!

Лиля ела по всем правилам, мешала по кругу, макала вес-
ло в море, а доев, собрала кусочком теста все до послед-
ней капли и посмотрела на меня долгим взглядом. Потом на
печь. Потом опять на меня. Перевожу без словаря, моя де-
вочка хочет добавки.

«Ну вот, тетя Манана, — сказала я про себя. — Помянули.
Руки помнят, права ты была.»

Кузьме досталась корка с сыром, и он умял ее, забыв все
свое кошачье достоинство. А я, глядя на сытые и довольные
лица, уже прикидывала цену. Солдатам такое можно ставить
втрое против сдобной лепешки, и брать будут, за таким и

командиры в очередь встанут. Лодочка моя, похоже, только что спустилась на большую воду.

А на следующий день, пришли солдаты.

Я их ждала, если честно, и подготовилась, как готовятся к приемному дню. С вечера все приготовила и отмерила, утром замесила два теста, пресное и второе на простокваше, остатки Зосиных крынок у меня как раз скисали в погребе и просились в дело.

Два десятка лепешек, половина с крапивой и яйцом, половина простых, легли под чистую тряпицу горкой. Я то и дело поглядывала на пролесок. И все равно прозевала. Явились они вчетвером и совсем с другой стороны, от дороги.

Первым гостей объявил Кузьма, сел столбиком на своем пеньке и уставился вдоль дороги. Следом, без единой команды, пришел в движение мой гарнизон. Тишка возник у стола с горкой, одернул рубаху и сделал лицо приказчика. Лиля скользнула в дом, на свой пост у печи, только мелькнул подол. Молодцы, отметила я про себя. Оставалось соответствовать, и я вытерла руки о передник и вышла к калитке..

— Хозяйка! — Ланс сиял, как начищенный котелок. — Принимай пополнение! Это Брок и Митяй, они мне вчера весь вечер не верили, что в этой глуши лепешки лучше городских. Пусть теперь сами позорятся.

Брок и Митяй, два здоровенных лба, топтались у калитки и старательно делали вид, что зашли случайно. Кошели у

обоих были уже в руках.

Первую пару лепешек я подала на пробу, горячими, из-под тряпицы. Заворачивал уже Тишка, я только глазом успела повести, а он подхватил, и заворачивал в лопуховые листья, чистые, лопушиной стопкой с утра запаслась Лиля, сама, никто не просил. Лист к лепешке, уголки подвернуть, подать двумя руками. Где он этому выучился, на базаре ли посмотрел, сам ли сообразил, но выходило у него ловко.

Брок оказался рыжим, конопатым и громким, Митяй чернявым и основательным, ел он так же, как, подозреваю, служил, молча и до полного результата. Торговля заняла четверть часа. Лепешки с начинкой я отдавала по медяку за пару, простые по медяку за три, и это была цена честная, даже скромная, я нарочно не задирала. Мне нужен был постоянный доход, а солдат, он как покупатель верный, если его не обдирать, будет ходить, как на службу, и товарищей приводит.

Расчет оказался верным с первой же лепешки. Брок надкусил, замычал, посмотрел на Ланса с укором.

— И ты молчал? Мы там жуем казенную подошву, а тут вот это вот?

— Я не молчал, я вам два дня говорил, — с достоинством отозвался Ланс. — Хозяйка, ты не слушай его, он у нас из города, избалованный. Заверни ему еще пару, пусть учится родину любить.

Митяй съел три подряд молча, вытер рот и спросил, бы-

вают ли с мясом.

— Будут, — пообещала я. — Со временем.

А под конец торговли я выставила главный козырь. Лодочки.

Испекла их с утра четыре штуки, на пробу, сверх лепешечного счета, и теперь поставила перед служивыми одну, разрезанную на четверых, угощаю, мол, знакомство обмыть. Дальше можно было не рекламировать. Над столом стало тихо. Так тихо, что слышно стало, как в загоне возится и ворчит на кого-то Сирена. Четыре куска исчезли одновременно, а потом четыре человека замерли, каждый по-своему. Ланс застыл с куском на весу, прожевал, посмотрел на остатки лодочки, на меня, опять на лодочку.

— Хозяйка, — сказал он проникновенно. — Это что было?

— Хачапури. По-нашему, лодочка. Хлеб с сыром и яйцом.

— Лодочка. — Он покачал головой. — Я в столице бывал, при штабе месяц стоял, там пекарни на каждом углу. Так вот там такого нет. Почему?

— А завтра такие будут? — влез Брок с набитым ртом. — А с собой можно? А по две в руки?

— Будут, если сыра хватит. С собой можно. По две в руки можно, по три уже наглоть.

Цену я назвала втрое против лепешки с начинкой, сыр и яйцо денег стоят. Никто не поморщился. Оставшиеся три лодочки ушли тут же, не сходя с места. Брок свою съел, От-

то умял молча, только глаза прикрыл, а Митяй, подумав, завернул в тряпицу, сказал, десятнику снесет, пусть знает, где служим.

Двадцать лепешек и четыре лодочки ушли, не дойдя до полудня. В переднике у меня звенело тринадцать медяков, и я их, признаться, пару раз пересчитала, просто для удовольствия. Первая настоящая выручка. Живые деньги, заработанные своей печью и своими руками.

Перед уходом Ланс исполнил обещанное. Отвел Тишку к забору, где стоял его арбалет, и с четверть часа гонял мальчишку по всей науке. Вот скоба, вот тетива, вот лежа, руками по железу не елозить, оружие уважения требует. Тишка слушал так, что у него уши шевелились.

Потом дошло до дела. Ставишь ногу в стремя, берешься двумя руками и тянешь. Первый раз Тишка дернул тетиву, как дергают репку, и чуть не сел.

— Не рви, — сказал Ланс. — Тяни. Спиной тяни, всем корпусом, руки только держат. Ну.

Второй раз тетива доползла до середины и вырвалась. Тишка зашипел, потряс ладонями, красными, с белым следом от шнура, оглянулся на меня, я старательно смотрела в другую сторону, и взялся снова. С третьего раза, багровый, с зубами наружу, он дотянул ее до зацепа, и щелчок замка прозвучал над двором, как салют.

— Боец, — сказал Ланс серьезно, без смеха, и разрядил арбалет. — К осени подрастешь, до стрельбы допущу. По

пню.

Вернулся ко мне Тишка красный и распираемый гордостью, как самовар, и ладони свои с рубцом от тетивы нес перед собой, как награду. Мазать их подорожником он отказался наотрез. Такие мозоли, я так поняла, не лечат. Такими гордятся.

Лиля наблюдала за учением издали, с крыльца, сложив руки на груди, как заведующая на собрании, и по мере учения все крепче поджимала губы.

— Правильно, — сказала я ей вполголоса. — Мы с тобой, Лиля, женщины мирные. Наше оружие вон, в печи стоит.

Дети за время торговли нашли себе места сами, и места эти оказались до того правильными, что я потом ничего и не меняла. Тишка при покупателях состоял на подхвате, подавал, заворачивал, бегал в дом за добавкой, и делал это с такой купеческой солидностью, что Ланс к концу торгоа обращался уже к нему, «хозяин, а заверни-ка еще пару». Хозяин заворачивал, надувался и косился на меня, слышала ли я. Я слышала. Лиля на люди не выходила, ее пост был в доме, у печи и у горки, она принимала лепешки с противня, перекладывала, накрывала тряпицей, и горка у нее стояла ровная, как на витрине.

Проводив покупателей, я села на крыльцо и провела ревизию. Себестоимость лепешки выходила смешная. Мука, вода, соль, своя зелень, свое яйцо через раз. Труд не в счет, труд у меня свой, даровой. С каждого медяка в чистых оставалось

больше половины. А лодочка, посчитала я, при всей дороговизне сыра давала еще жирнее, за сыр и яйцо платил покупатель, и платил не морщась. Выходило, что печь мне надо обе линии разом, лепешки для оборота, лодочки для настоящего заработка. А со временем добавить пироги с мясом, которые просил Митяй, и, когда Гаррик скует противень, гнать партии побольше.

Я себя одернула. Не разгоняйся, Светлана Петровна. Сперва мука, соль и оборот, империи строятся с ларька.

Вечером я устроила своему предприятию правление. Разложила медяки на столе и стала делить, вслух, для себя и для порядка.

— Четыре медяка на муку, завтра в лавку, торговля муку жрет быстрее нас. Три на приклад, соль выходит, сала взять. Три в оборот, пусть лежат. И три...

Три последних медяка я завернула в чистый лоскут и завязала в тугой узелок. Узелок убрала на дно сумки, отдельно от всего.

Тишка следил за дележом от печи, но про узелок не спросил ничего, а я ничего не объясняла. Долг платежом красен, Марте я верну все до копеечки.

Дальше дни покатились, как колесо с горки, разгоняясь.

На одиннадцатый день я сходила в лавку за мукой. Лавочник встретил меня, как родную, даже из-за прилавка вышел.

— Слыхал, слыхал. Солдатики к тебе ходят, за еду платят. Молодец, хозяйка, рукастая, с головой на плечах, не чета на-

шим девкам, те только языком молоть умеют, да о женихах думают. Муки? Есть мука, самая свежая.

Мука в лавке была дороже базарной, я это знала и шла на это сознательно, оборот важнее экономии. Зато лавочник, почуяв во мне постоянного покупателя, взвесил без обвеса, сам, я даже попросить не успела, и предложил на будущее отпускать мешок под запись, до вечера, если торговля прижмет. Кредит доверия в деревне стоит дороже любой скидки, я оценила. А на обратном пути завернула к мельничихе, по Зосиной наводке. Мельничиха, могучая тетка с руками как у молотобойца, выслушала меня, вытирая ладони о фартук, и переспросила с недоверием.

— Сыворотку? Тебе? Да я ее свиньям лью, кто ж ее берет.

— Я беру. Ведро за медяк, забирать буду по утрам. Идет?

— За медяк. — Она посмотрела на меня, как смотрят на городских, которые платят за помои. — Слышь, а тебе на что? Поросятка, что ль, завела?

— Тесто на ней ставлю. Лепешки мои пробовала? Вот на ней и пышность.

— Ишь ты. — Мельничиха хмыкнула, но медяк взяла и ведро пообещала держать с вечернего удоя, только приходи со своей посудой. Носить сыворотку я определила Тишку, ему по утрам как раз выходила прогулка до мельницы, а заодно и лишние глаза на дорогу, кто едет, кто идет, в хозяйстве все сгодится.

Ну и пусть смотрит, как на чудачку. Сыворотка в тесте это

пышность и кислинка, мои лепешки скажут ей спасибо.

Вечером того же дня я дошила Тишке рубаху из ситца попроще, серого, мужского, я такой специально взяла при покупке. Вручила после ужина, буднично, как выдают спецовку.

— Примерь. Велика, так это на вырост, ты вон как на каше прешь.

Тишка влез в рубаху, одернул, повел плечами. Рубаха была велика ровно на одно лето. Он прошелся до двери, как Лилия тогда, только по-своему, вразвалочку, сунул руки за пояс, посмотрел на рукава.

— Справная, — вынес он вердикт себе, тем же тоном, что сестре. И добавил, глядя в сторону. — У меня своей рубахи не было. Батина перешитая была. А своей вот. Не было.

— Теперь есть, — сказала я. — Носи.

Тем же вечером я нарезала у ручья лозы и начертила Тишке на земле корзинную науку. Крестовина из толстых прутьев, это дно. Стойки кверху, это ребра. А дальше води прут змейкой, перед стойкой, за стойку, и прижимай ряд к ряду плотно, чтоб щели не было.

— Как забор плести, — сообразил Тишка.

— Он самый и есть, только круглый. Держи. Испортишь прут, не беда, лозы у ручья на сто корзин.

Он просидел над крестовиной дотемна, сопел, распускал, начинал заново. Я не помогала, только поправляла словом. Корзина не миска, за вечер не дается, но начало он положил

правильное и спать пошел, оглядываясь на свою крестовину.

В следующий раз солдат я услышала раньше, чем увидела. От пролеска гудело, как от улья, шестеро шли развернутым строем, и двое новеньких, которых я еще не знала, тянули шеи, разглядывая мой двор, как достопримечательность. Ланс с порога предупредил, что это еще цветочки.

— Про тебя, хозяйка, уже два костра знают. Ты давай пеки больше, а то мне вчера Брок чуть в ухо не дал, я его лепешку съел. Случайно.

Пекла я в тот день сорок штук, заходами, с рассвета, и ушли все, до последней. Брали уже не на себя, на товарищей, с каждым покупателем уходил заплечный мешок гостинцев на пол-отделения.

А главный спрос в тот день был уже на лодочки. И не только спрос.

Слава их, как выяснилось, добежала до лагеря вперед дозора. Митяева тряпица с гостинцем для десятника сработала лучше любого глашатая, и шестеро с порога, еще не поздоровавшись толком, спросили, есть ли те самые, с сыром и глазом. А следом Ланс приосанился, прокашлялся и выдал главное, как рапорт.

— Тебе, хозяйка, похвала. От самого.

— От кого от самого?

— От командира. — Ланс понизил голос, будто командир мог слышать его через лес. — Дело так было. Митяй лодочку десятнику снес, а десятник вечером у костра ее развер-

нул. А командир мимо шел. И учуял. У него нюх, сама понимаешь, драконий. Подошел, спрашивает, что это у вас и откуда. Десятник чуть не подавился, но доложил, как есть. Мол, хозяйка тут одна печет, на отшибе, при деревне.

— И что командир?

— А командир отломил, съел и помолчал. — Ланс поднял палец. — А потом велел передать хозяйке похвалу. Так и сказал, передайте хозяйке, что руки у нее правильные. У нас, чтоб ты знала, от него такого месяцами не слышат. Брок вон за весь год одну похвалу получил, и ту за то, что с вышки не свалился.

Солдаты заржали, когда Ланс добавил про вышку, Брок покраснел до ушей, а я мешала тесто и переваривала новость. Выходило занятно. Тот самый лорд, с которым Элеонору когда-то сговаривали и из-за которого, если разобраться, ее и вышвырнули из дома, ел мою лодочку у солдатского костра. Мир тесен, а лес и подавно. Сам он в той истории, положим, был виноват не больше моего. Но заводить с лордами знакомства я все равно не собиралась. Лорды это хлопоты, а хлопот у меня и своих полное хозяйство.

А похвалу возьмем. Я приняла ее молча, с достоинством, как премию от начальства, и про себя отметила, что тетя Манана сегодня может мною гордиться. Ее лодочки дошли до драконов.

Дюжина, испеченная в то утро как по чутью, ушла, не остыв, и на послезавтра заказали еще.

— Хозяйка, ты только никому больше не пеки, слышишь?

— спохватился Ланс. — Маршрут наш. Только нам.

— Торговля дело вольное, — сказала я. — Кто пришел, тому и пеку. Но вы первые, так и быть, за вами право первой лодочки.

Новенькие, двое дозорных с дальнего поста, сперва стеснялись, мялись у калитки, потом освоились и ели наперегонки с Броком. Один, совсем молоденький, с пушком на щеках, доел свою пару, потоптался и спросил, нельзя ли взять с собой, для десятника, десятник у них с зубом мучается, горячего просит.

— Для десятника заверну без очереди, — сказала я. — А зуб пусть покажет лекарю, пока щеку не разнесло.

— У нас коновал только, — вздохнул молоденький.

— Тогда держи. — Я отсыпала ему в тряпицу ромашки из своих запасов. — Заваривать и полоскать теплым, утром и вечером. Не вылечит, но дотянуть до лекаря даст. И скажи, пусть не греет щеку, хуже будет.

Молоденький убрал тряпицу за пазуху с таким лицом, будто ему доверили полковую казну.

В переднике к вечеру звенело так, что Кузьма приходил слушать. А среди новостей, которые солдаты выкладывали за едой, одна была нехорошая, и я ее отложила, как откладывала все нехорошее, в свой ящичек.

— Обоз третьего дня взяли, — сказал Ланс, понизив голос и оглянувшись на детей, возившихся у загона. — Мучной,

с мельниц. Возчиков отпустили целыми, товар как корова языком. И главное, чисто работают, сволочи, ни следа. Командир лютует. Смотры теперь через день, дозоры двойные. Так что мы, хозяйка, теперь к тебе, может, пореже, служба.

— Пореже так пореже, — сказала я ровно. — Лепешки никуда не денутся. Вы там поаккуратнее по лесам ходите. Берегите себя.

— Командир вчера сам тракт облетал, — добавил Брок и невольно глянул вверх, будто тень могла пройти и сейчас. — Дважды. Низко шел, деревья гнуло. Уж на что мы привычные, и то, я тебе скажу, когда эта туша над головой идет, шея сама в плечи вжимается.

— Мы-то поаккуратнее. — Ланс поднялся, отряхнулся и посмотрел на меня со взрослой, невеселой уже усмешкой. — Ты тоже, хозяйка. На ночь запирайся. Двор у тебя крайний, лес рядом. Мало ли.

Вот это его «мало ли» мне понравилось меньше всего. Сказано оно было без нажима, между делом, но я за сорок лет наслушалась, как люди говорят «мало ли», и различала в этом слове добрый десяток оттенков. Этот оттенок был из серьезных.

Тишка, как выяснилось, тоже все слышал, хоть и возился у загона. Вечером, когда я задвигала засов, он подошел, очень деловой, и сообщил, что будет ночью дежурить. По очереди, сегодня он, завтра я, у него и палка припасена.

— Отставить дежурство, — сказала я. — Ночью работни-

ки спят, иначе днем от них толку нет. Дом заперт, ставни на засовчиках, Кузьма на печи, он любой шорох раньше нас с тобой услышит. А палку держи, палка в хозяйстве вещь. Но спать.

Он посопел, но полез на печь. И я слышала, как он там шепотом пересказывает Лиле про обоз, и про дозоры, и про то, что бояться нечего, потому что «у нас засов и вообще». Успокаивал. Ее или себя, тут я судить не берусь.

А перед самым уходом Ланс, оглядев мой двор хозяйским глазом, завел разговор, которого я не ждала.

— Хозяйка, а воду ты все с ручья таскаешь? Полсотни шагов с ведрами, туда-обратно, и так весь день. Не дело. Давай мы тебе колодец выкопаем. Ручей под боком, значит, вода в земле близко стоит, на два-три роста уйдем и достанем. Камня у ручья гора, стенки обложим, ворот сколотим. Нас вон сколько, по двое в свободную смену, за несколько дней поставим.

— А с меня что? Даром не возьму, сразу говорю.

— А с тебя кормежка копающим. От пуза. — Ланс ухмыльнулся. — Только Отто кашей из печи не корми, а то он к тебе насовсем переселится, а он у нас лучший арбалетчик, командир не переживет.

Ударили по рукам. Место я выбрала сама, в тот же час, по всей санитарной науке, выше загона и выше кострища, чтобы никакие стоки к воде не шли. Отто добавил своей науки, деревенской, велел глянуть на заре, где роса гуще лежит и где под вечер мошकारа столбом толчется, там вода близко, старики так искали.

Проверила я на другое утро. Встала до света, вышла во двор. Роса лежала везде, но у дальнего угла, где я с вече-

ра вбила колышек, трава была мокрая насквозь, хоть отжмай. А вечером над тем же местом столбом толклась мош-кара. Выходило, место выбрано верно. И опыт, и медицина сошлись в одну точку, а когда они сходятся, можно копать смело.

Копать начали со следующего прихода, через день. Брок с молоденьким остались после торговли на пару часов. Лопатки у них были свои, солдатские, короткие, такие каждый носит на поясе. Работали ловко. Дерн сняли ровными кусками и сложили в сторону, пригодится, сказали. К закату во дворе был готов первый шурф, по пояс глубиной, выкопанная земля горкой рядом. Брок вылез, отряхнулся и похлопал ладонью по стенке ямы, как хлопают коня.

— Глина пошла, хозяйка. Это хорошо, глина воду держит. Дня через три догребемся.

Тишка крутился при копке неотлучно, оттаскивал, подносил, выпросил подержать саперную лопату и к ужину уже знал слова «водоносный слой» и «плывун», о чем прочитал нам с Лилей целую лекцию, важную, с повторами, в которых я без труда узнала интонации солдатиков. Лиля в разгар копки вынесла работникам по кружке холодного кипрейного чая, сама, на дощечке, как на подносе, и стояла рядом, пока не выпили и не вернули посуду. Брок сказал ей, спасибо, хозяйка, и она ушла в дом с прямой спиной, унося кружки, как знамя.

Вечернее подсчеты в тот день, вышли богатые. Тридцать

четыре медяка разошлись по кучкам, мука, приклад, оборот, и узелок мой потяжелел еще на пять монет. Я взвесила его на ладони. До мешочка Марты, который она сунула мне на прощание, было еще далеко, но узелок уже не звенел сиротливо, узелок уже позвякивал.

Одно только било по моим планам. Сырный круг ушел весь, до последнего ломтя, а лодочек заказали еще. Благо завтра-послезавтра базар, и хуторская тетка обещала держать для меня товар. Возьму два круга, решила я. А сговоримся, так и все три.

К слову, о вечерах. Вечера у нас к этому времени сложились в свой порядок, прочный, как расписание смен. После ужина каждый садился за свое. Тишка плел, вторая корзина шла у него уже втрое быстрее первой и вдвое ровнее, руки привыкли и работали сами. Лиля перебирала сушеную траву, у нее там образовалось целое аптечное хозяйство, пучки она пересматривала, перевязывала, раскладывала по кучкам, кипрей к кипрею, ромашка к ромашке, и попробуй кто перепутай. Я шила или считала. Кузьма спал на печи, изображая надзор. Светил нам на всех мой жирник, плоска с топленным салом и фитилем из суровой нитки, я смастерила его в первый же торговый вечер, когда поняла, что с деньгами надо сидеть при свете, а жечь растопку на это добро не напасешься. Огонек у жирника ровный, желтый, уютный.

День выдался серый, с мелким дождем, из тех дождей, что зарядят с утра и стоят стеной до темноты. Куры сидели в боч-

ке, высунув головы, и взирали на осадки с личной обидой. Яму за ночь наполнило дождевой водой на локоть, и Тишка, в мешковине на плечах, бегал ее вычерпывать, потому что, стенки раскиснут. Вычерпал. Дело свое он теперь понимал. Дозор в такой день не приходил, дорога развезлась, и мы просидели в доме, у печи, за домашними делами.

Дождь стучал по новой дранке, и дранка держала, ни одной капли, я специально прошлась по всем углам и мысленно еще раз похвалила Тима. Печь топилась, в доме стояло сухое тепло, пахло травами и хлебом, и дождь при таком раскладе был уже уютным.

Я села за шитье, у меня из ситцевых остатков шла юбка, себе, простая, рабочая. Дошло, наконец, и до себя, а то одеваю всех, кроме собственной персоны, непорядок. Тишка у окна доплетал вторую корзину. Лиля устроилась возле меня с нитками.

За этим сидением Тишка и спросил. Не отрываясь от лозы, буднично, как про погоду.

— А ты чего одна живешь? Ну, вообще. Мужика нет, детей нет. Городская, а тут. Чего в город не вернешься?

Лиля перестала перематывать нитки. Не повернулась, но по спине ее было видно, что слушает.

— Так сложилось, — сказала я ровно, продолжая шить. — Одна и одна. Что было, то прошло, ворошить незачем. А в город возвращаться не к кому, там меня никто не ждет. Тут хоть курам нужна.

— И нам, — сказал Тишка тихо.

Сказал и заработал прутом с удвоенной скоростью, потому что такие слова у него, я так поняла, проскакивали помимо воли. Я и виду не подала, что слышала. Только стежки у меня пошли почему-то вкось, пришлось распустить и перешить.

Также я проверила посуду в темнушке. Глина подвялилась ровно, как надо, стенки посветлели, зазвенели под ногтем суховато, но до конца еще не дошли. Я подровняла кромки мокрой тряпицей, загладила пару трещинок на Тишкиных кривобоких и вернула все под надзор. Посуда, считай, дошла. День-другой для верности, и можно обжигать.

Потом был чай. Кипрей дошел, потемнел, и заварка из него вышла густая, красноватая, с медовым духом, я, честно говоря, сама не ожидала, что настолько похоже на чай из моей прошлой жизни. Пили втроем, из двух кружек и миски, вприкуску со вчерашней лепешкой. Тишка выдул две порции и заявил, что в городе за такое деньги дерут. Я записала это заявление в раздел перспективного планирования.

А вечером, у жирника, мне не давала покоя Зосина новость. Зося, принеся днем масло, выложила ее вместе с комом.

По деревне ходит чужой человек. Городской, сытый, в справном сюртуке, ростовщик, Мордусом кличут. Ходит и выспрашивает. Про меня. Кто такая, откуда взялась, чем живу, что за дети при мне, много ли торгую. Лавочника рас-

спрашивал, у колодца бабам вопросы задавал, ласковый такой, все с улыбочкой.

А еще, сказала Зося, понизив голос до полного шепота, этого самого Мордуса на днях видели у Фаронов во дворе. Сидел под яблоней, чай гонял, как родной, и Гризельда вокруг него павой ходила.

Я поблагодарила за новость и до вечера об этом не думала, день не давал. А у жирника задумалась. Ростовщик, который спрашивает про меня. Гризельдино «в хорошие руки отдадим», сказанное сгоряча у моей калитки. По отдельности это были кусочки, а вместе складывалось во что-то мутное и нехорошее.

Я задвинула засов, послушала его солидный лязг и велела себе не выдумывать на ночь. Утро вечера мудренее, а у страха глаза велики. Но кочергу от печи я в тот вечер, каюсь, переставила поближе к лавке. Так, на всякий случай. Хозяйство у меня теперь было большое. Было что беречь.

Спать, однако, не шлось. Я накинула платок и вышла на крыльцо, подышать перед сном, ступенька за день нагрелась и еще держала тепло. Присела. Вечер стоял тихий. Пахло дымом, мокрой травой. Над лесом высыпали звезды, крупные, деревенские, каких в городе не увидишь.

Лиля вышла из дома тихо, я услышала ее уже рядом, босые ножки по доскам. В ночной рубаше. Постояла возле. А потом взяла меня за руку.

Вложила свою ладошку в мою и прижалась боком к моему

плечу.

Я обняла ее свободной рукой и прижала к себе. И мы сидели так и смотрели на темный двор, на кучу земли у будущего колодца, на звезды над лесом, и молчали обе.

Тишка вышел следом, потоптался, сел рядом и принялся очень старательно гладить Кузьму. По затылку его было видно, что заняты они с котом чрезвычайно, просто до крайности, и никакого дела им нет до того, что происходит рядом.

Так мы и сидели, пока совсем не стемнело.

Утром, первым делом, я вынула из темнушки миску, свою, кривобокую, и щелкнула по краю ногтем. Отозвалось сухо и чисто, как должна отзываться досохшая глина. Я перещелкала все производство по очереди. Звенело дружно.

За завтраком, за лепешками с чаем, я объявила планы.

— Посуда дошла. Вечером топим печь по-большому и обжигаем. А с утра базар, закупка серьезная. И кур докупим, пару молодых. Два яйца в день на нашу торговлю слезы, а покупать постоянно не с руки.

— А зимой они в бочке замерзнут, — заметил Тишка с набитым ртом.

— Замерзнут. Поэтому к холодам поставим им сарайчик, с двойной стенкой и настоящим насестом. Место у южной стены, я присмотрела. Ты у меня по строительной части, вот и займемся.

Тишка кивнул так, будто уже прикинул, где брать доску. А я положила перед ним на стол медяк.

— Твое. Первое жалованье, как уговаривались. Дела пошли.

Тишка посмотрел на монету. Потом на меня. Потом опять на монету и жевать перестал.

— Это чего?

— Медяк. Уговор был, медяк в неделю, когда дела пойдут.

Дела пошли, неделя прошла. Все честно.

Он не двинулся. Сидел и смотрел на медяк.

— Нам? — спросил он наконец. Тихо, без всякого своего напора

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.